THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

DK254
.L6
A5

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
10001854717

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
APR 2 8 1986	W 2 7 '86		
APR 2 9 1991			
	APR 26 '91		
MAY 2 6 1991			
	MAY 15 '91		
APR 02 1998			
	MAY 0 1 '96		

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/otryvkiizvospomi00lopu

А. А. Лопухин

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(По поводу „ВОСПОМИНАНИЙ“ гр. С. Ю. Витте)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МОСКВА.

Общественные науки.

Блос, В. Германская революция. История движения 1848—1849 г.г. в Германии. Изд. 1922 г. Стр. 528.

Бухарин, Н. Теория исторического материализма. Изд. 1922 г. Стр. 385.

Браун, Л. Женский вопрос. Его историческое развитие и его экономическая сторона. Изд. 1922 г. Стр. 356.

Бебель, А. Женщина и социализм. Изд. 1923 г. Стр. 400.

Бернштейн-Коган, С. В. Очерки по экономической географии. Вып. I. Изд. 1922 г. Стр. 126.

Волков, Е. З. Аграрно-экономическая статистика России. (1865—1922 г.г.) Стр. 147.

Вольфсон, М. Б. Очерки обществоведения. Изд. 1922 г. Стр. 196.

Гильфердинг, Р. Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма. Новое пересмотренное изд. 1922 г. Стр. 446.

Драницын, С. Конституция Р. С. Ф. С. Р. в ответах на вопросы. Изд. 2-е 1922 г. Стр. 147.

Ерманский, С. А. Научная организация труда и система Тэйлора. Изд. 1922 г. Стр. 736.

Жорес, Ж. История великой французской революции. Т. I. Учредительн. собр. 1789—91 г.г. Изд. 1922 г. Стр. 260.

Его же. История великой французской революции. Т. III. Конвент. Вып. I. Республика (1792 г.). С пред. Н. М. Лукина Изд. 1923 г. Стр. 332.

Кейнс, Д. М. Экономические последствия Версальского мирного договора. Изд. 1922 г. Стр. 197.

Его же. Пересмотр мирного договора. (Продолжение „Экономич. последств. Версальск. мирного договора".) Изд. 1922 г. Стр. 144.

Коллонтай, А. Положение женщины в эволюции хозяйства. С 2 цветн. диаграмм. Изд. 1923 г. Стр. 208.

Ее же. Общество и материнство. Т. I. Государственное страхование материнства. Изд. 1922 г. Стр. 265.

Ее же. Общество и материнство. Т. II. Государственное страхование материнства. Изд. 1923 г. Стр. 598.

Каутский, К. Экономическое учение Маркса. Изд. 1922 г. Стр. 158.

Его же. Путь к власти. Изд. 1922 г. Стр. 129.

Каменев, Л. Меньшевики в первой русской революции. Изд. 1923 г. Стр. 95.

Люксембург, Р. Накопление капитала. К вопросу об экономическом объяснении империализма. Под редакц. Н. Бухарина. Изд. 1923 г. Стр. 336.

Ее же. Накопление капитала или что сделали эпигоны из теории Маркса. (Антикритика.) Изд. 1922 г. Стр. 108.

Лафарг, П. Труд и капитал. Изд. 1922 г. Стр. 79.

Ленин, Н. (Ульянов, В.) „Искра" 1900—1903 г.г. Изд. 2-е 1922 г. Стр. 335.

Его же. Т. VI. 1905 год. Изд. 1921 г. Стр. 618.

Его же. Т. VII. Ч. I. 1905—1906 г.г. От октября 1905 г. до роспуска первой государственной думы. Изд. 1921 г. Стр. 352.

Его же. Т. VII. Ч. II. 1905—1906 г.г. От роспуска I-й госуд. думы до начала избирательн. кампании во вторую думу. Изд. 1922 г. Стр. 303.

Его же. Т. X. Материализм и эмпириокритицизм. Изд. 1923 г. Стр. 398.

Его же. Т. XIV. Ч. I. Буржуазная революция 1917 г. От февральско.. революции до наших дней. Изд. 1921 г. Стр. 314.

Его же. Т. XIV. Ч. II. Буржуазная революция 1917 г. От июльских дней до октябрьской революции. Изд. 1921 г. Стр. 536.

Его же. Т. XV. Пролетариат у власти 1918 г. 25 окт. 1917 г.—31 дек. 1918 г. Изд. 1922 г. Стр. 600.

A. A. Lopukhin DK254 .26 A5

А. А. ЛОПУХИН

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(по поводу „ВОСПОМИНАНИЙ" гр. С. Ю. ВИТТЕ)

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
М. Н. ПОКРОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Гиз. № 3813. Главлит. № 4652. Москва. Напеч. 15.000 экз.

«Мосполиграф». 1-я Образцовая типография, Пятницкая, 71.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Воспоминания А. А. Лопухина, директора департамента полиции с 1902 по 1905 год, т.-е. за период на который падают министерства Плеве и Святополка-Мирского—издаются Государственным Издательством, главным образом, как дополнение к мемуарам Витте. Известно, каковы были в конце XIX и начале XX века отношения министерства финансов — представлявшего интересы русского капитализма, следовательно, как никак, относительного прогресса—и министерства внутренних дел, охранявшего незыблемость устоев самодержавно-крепостнического государства и объективно могшего представлять, стало быть, только реакцию. Это объективное, дававшееся условиями русского исторического развития, отношение двух ведомств должно было наложить отпечаток и на отношения их руководителей: если министр внутренних дел не был креатурой министра финансов, или наоборот, между этими высшими чиновниками должна была существовать лютая вражда, хоть бы субъективно оба они стоили друг друга, хотя бы оба были бюрократами и карьеристами до мозга костей.

Этот своего рода «эмпирический закон» русской административной истории наиболее ярко выявился, когда во главе соответствующих ведомств стали такие выпуклые фигуры, как Витте и Плеве. Как государственный человек, первый был неизмеримо выше второго, но второй был несравненен, как сыщик, а для Николая Романова непосредственно второе было, конечно, важнее первого. Витте был практически более нужен государству, Плеве был практически более нужен государю—последний же Николай далеко не обладал тою сметкой, какая была у его прадеда, Николая I, десятилетиями державшего при себе в одинаковом фаворе и Бенкендорфа [1]), и Канкрина. Быть может, однако же, и Николай II не отдал бы Витте на растерзание своему министру внутренних дел, если бы первый—опять-таки не столько персонально, а как шеф русского капитализма,—не попался последнему Романову на дороге в «фамильном» деле: знаменитой попытке захвата Кореи, что послужило ближайшим поводом к русско-японской войне. Витте не мог не понимать, что, с точки зрения русских экономических интересов, война в данный момент есть безумие, он старался оттянуть ее возможно дальше, а Николаю и стоявшей за его спиной кучке авантюристов не терпе-

[1]) Бенкендорф был не министром внутр. дел, а шефом жандармов, но тогда политическая полиция и не входила в полномочия министра внутр. дел, а была самостоятельным «III отделением» императорской канцелярии, во главе которого и стоял Бенкендорф.

лось погреть руки на этом, с их точки зрения, беспроигрышном деле. Витте должен был пасть—и его «естественному врагу» развязали руки.

Сложные перипетии этой борьбы, от исхода которой зависело, полетит ли трон Романовых в пропасть теперь же, или еще продержится несколько десятилетий, нам известны из самых разнообразных источников, освещающих ее с самых различных точек зрения. Ценнее всего, конечно, кроме документов, собранных Витте, быть может, не без тенденции (в подлинности документов сомневаться не приходится), дневник Куропаткина за 1902—1903 года [1]). Печатаемые теперь воспоминания Лопухина освещают дело с точки зрения, до сих пор в литературе не представленной. Мы слышали до сих пор голос одной стороны, министерства финансов, и «благородного свидетеля» министерства военного: в лице Лопухина начинает говорить министерство внутренних дел.

Оказывать какое-либо исключительное доверие показаниям именно этого ведомства, конечно, у нас нет ни малейшего основания. Дневник Куропаткина, уже по одному тому, что это д н е в н и к, т.-е. записи непосредственно после событий, по свежей памяти,—а не в о с п о м и н а н и я о том, что было 20 лет назад, гораздо ценнее, как источник. Но от Плеве мы даже воспоминаний не имеем—бомба Сазонова лишила нас этого источника абсолютно и навсегда. Записки его

[1]) Опубликован в II книге «Красного Архива».

9342— 64

директора департамента могут служить некоторым суррогатом.

Пользуясь этим суррогатом, необходимо однако, помнить все время особенности той точки зрения, которая неизбежно навязывалась ему «реальным соотношением сил». Мы нисколько не думаем заподозревать личной искренности А. А. Лопухина—но его тогдашнее положение не может не делать его защитником его тогдашних принципалов и врагом их врагов. Он, например, убежден, что Плеве не при чем в устройстве Кишиневского погрома 1903 года (стр. 14): между тем, из дневника Куропаткина мы знаем, что Плеве считал погром желательным и полезным—«евреев надо проучить», эти слова записал Куропаткин под свежим впечатлением [1]). То же раньше говорил Куропаткину и Николай. Можно ли поверить, что то, что получило post factum (задним числом) такую одобрительную оценку и от царя, и от его министра, было для них неожиданностью? Доводы же А. А. Лопухина, что Плеве уволил потом кишиневского губернатора, уже совсем не убедительны. Кто же не знает, что за скандалы этого рода всегда расплачиваются сторожа, швейцары, стрелочники и т. под.?

Отпечаток этого «ведомственного» интереса ложится и на один из интереснейших — если, закрыв глаза, принять заранее его абсолютную достоверность—рассказов А. А. Лопухина, истории падения Витте в 1903 г.

---

[1]) «Красный Архив» II, стр. 43.

(стр. 73—75). По этому рассказу выходит, что Витте пал жертвою своей попытки спихнуть Плеве при содействии Зубатова и князя Мещерского, посредством сочиненного Зубатовым подложного письма Николаю II. Другой провокатор, друг Зубатова, донес об этом Плеве, и мина была разоблачена достаточно своевременно, чтобы последний успел принять свои меры. Рассказ явно неправдоподобен, ибо Витте был все-таки очень умный человек, чего не отрицает и А. А. Лопухин—а средство, им яко-бы придуманное, крайне глупо, в особенности, если принять и редакцию «письма», как ее передает автор воспоминаний, т.-е. принять, что в нем не только заключалась клевета на Плеве, но и рекомендация Витте на его место. Витте не мог не знать, что Николай его терпеть не может, и что одной этой рекомендации совершенно достаточно, чтобы спасти Плеве. А что А. А. Лопухину последний все это «лично рассказывал», ни малейшим образом не убедительно: ведь и о своей непричастности к Кишиневскому погрому тот, вероятно, тоже «лично рассказывал».

В итоге, впечатление наибольшей достоверности производит та глава воспоминаний, где рассказывается о ходынской катастрофе 1896 года. А. А. Лопухин был тогда не чиновником министерства внутренних дел, а товарищем прокурора в Москве, и его изложение здесь носит характер толково и добросовестно составленного отчета следователя. Но уже в следующей главе, посвященной истории злосчастного манифеста

12 декабря 1904 года, точка зрения «внутренних дел» (на этот раз представлявшегося не Плеве, а Святополком-Мирским) достаточно бьет в глаза. Только самый манифест-то, эта попытка тушить пожар при помощи ликерной рюмки, имеет столь малое историческое значение, что тут характерна только позиция Витте, освещенная и здесь, конечно, далеко не беспристрастно, но все же правдоподобнее, чем в инциденте с Плеве. Об интригах Витте в связи с этим манифестом известно было, впрочем, и в широких кругах (см. «Воспоминания и думы о пережитом», Д. Н. Шипова). С моральной оценкой, которую А. А. Лопухин дает Витте («Только один ум отличал его от Николая II — в отношении морали они были недалеки друг от друга», стр. 73), можно вполне согласиться. Отличались ли, однако, другие слуги Николая от него в этом отношении?

М. Покровский.

Отрывки из воспоминаний.

(По поводу „Воспоминаний графа С. Ю. Витте“.)

Русское книгоиздательство в Берлине «Слово» издало «Воспоминания» С. Ю. Витте. Отдельные экземпляры их появились в Москве. Эта двухтомная книга, содержащая в общей сложности более тысячи страниц, охватывает период в семнадцать лет, от воцарения Николая II до последовавших за смертью Столыпина первых месяцев министерства В. Н. Коковцева включительно, т.-е. время, когда автор «Воспоминаний» занимал посты министра финансов, председателя комитета министров, председателя «конституционного» совета министров и затем состоял членом государственного совета, будучи, как он сам говорит, «в опале». Книга эта имеет интерес огромный и не потому только, что С. Ю. Витте разоблачает в ней много такого, что относится к крупнейшим событиям в жизни России, а, пожалуй, еще более вследствие того, что он, несомненно, неожиданно для себя самого, в своем собственном лице дал наиболее яркую для характеристики эпохи фигуру. Нет почти, да, я думаю, просто не может быть мемуаров, именно исторических мемуаров, в которых автор не стремился бы к объективности; это не всем может уда-

ваться, но все составители исторических воспоминаний стараются быть в них беспристрастными. «Воспоминания» С. Ю. Витте отличаются как раз крайней противоположностью. Трудно найти не только в мемуарной литературе, но даже в литературе вообще, произведение, отличающееся таким субъективизмом, как эти воспоминания. В них нет страницы, почти без преувеличения можно сказать, нет строки, которая не дышала бы страстностью. Автор даже и не пытается ее сдерживать и всю силу этой страстности направляет гораздо более на лиц, чем на события. Эта специфическая черта «Воспоминаний» превращает их из повествования о пережитом в очерк политических страстей самого Витте, которые до такой степени носят отпечаток и личных свойств его, и среды, в которой он действовал, что являются едва ли не самым показательным материалом для оценки того времени.

Для подробного разбора «Воспоминаний» С. Ю. Витте время еще не настало. Но и обойти их молчанием современники его, мне кажется, не должны, в особенности те из современников, у которых есть чем воспоминания Витте исправить и дополнить. Проявленная в них автором страстность заставила его в некоторых рассказах допустить весьма существенные умолчания, в других неверно осветить факты, а в иных и совершенно исказить их. Вот это и побуждает меня взяться по поводу них за перо.

Мои личные воспоминания были в свое время мною составлены. Часть их охватывала период, описанный теперь С. Ю. Витте. Но воспоминания мои и материалы к ним погибли вместе с моими домашними ве-

щами в острый период текущей революции. Я принялся за восстановление моих записок, но для этого предварительно еще нужно выполнить весьма при теперешних условиях нелегкий и медленный труд по собиранию необходимых материалов. Поэтому я не могу с уверенностью назначить себе срок, когда мои мемуары могли бы увидать свет. Опубликование теперь «Воспоминаний» С. Ю. Витте дало мне достаточный материал в отношении некоторых из тех событий, которые входили одновременно в круг его и моих наблюдений. Ввиду этого, описания этих событий оказались для меня возможными теперь же. Я и решаюсь печатать те из них, которые в состоянии, по моему мнению, восполнить допущенные Витте пропуски в рассказах об известных нам обоим фактах и дать последним то описание, которое, по моим воспоминаниям, к действительности ближе, чем сообщения С. Ю. Витте.

Таким образом, печатаемые ниже очерки представляют из себя лишь некоторую незначительную часть того запаса сведений, которые сохранились в моей памяти в отношении периода, затронутого «Воспоминаниями» Витте, и поскольку они в качестве возражений и дополнений к ним с ним связаны, страдают отсутствием связи внутренней. Будучи вызваны появлением в свет «Воспоминаний» С. Ю. Витте, относясь к ним, как к поводу, эти очерки представлялись бы, мне кажется, неполными и отчасти непонятными без предварительного краткого отзыва о самих «Воспоминаниях» и о нравственном облике их автора, поскольку таковой в них выявляется. Приступая к такому отзыву, я не могу не высказать, что делаю это с крайне тяжелым чув-

ством: нелегко говорить о человеке крупном, да еще таком, которого вы лично знали, о таком его произведении, в котором он создавал оправдание всей своей жизни, и не быть в состоянии сказать ни одного доброго слова. А «Воспоминания» С. Ю. Витте таковы, что, как бы ни смягчать мнение о них, их нельзя рассматривать иначе, как свидетельство полной потери их автором малейших признаков достоинства.

I.

Личность С. Ю. Витте.

Не только при внимательном, но даже при самом беглом чтении записок С. Ю. Витте бросаются в глаза совершенная бессвязность их изложения, уродливая безграмотность языка и замечательная бесцеремонность не только в мнениях и отзывах о других и в хвалах себе, но и в обращении с фактами. Первые два недостатка весьма затрудняют ознакомление с книгой, по содержанию своему полной интереса; а последний, давая ей общий отпечаток моральной недоброкачественности, подрывает ее историческое значение.

Бюрократический Петербург хорошо знал С. Ю. Витте и характеризовал его всегда так: большой ум, крайнее невежество, беспринципность и карьеризм. Все эти свойства отразились в воспоминаниях Витте, как в зеркале. Отсутствие элементарной научной подготовки и нравственных устоев было причиной того, что, будучи государственным деятелем, он не был человеком государственным. Для этого он не обладал не только общим государственным планом, но даже руко-

водящей государственной идеей. Все, на что он оказался способен, это отдельные более или менее крупные меры, из которых одна, винная монополия, при существовавшем в то время государственном строе, не могла принести народу ничего, кроме вреда, другая, денежная реформа, притом не им подготовленная, осталась недоделанной и, не освободив эмиссионный банк от правительственной власти, хотя и укрепила наше финансовое положение, но обратила денежную систему исключительно в орудие фиска, лишив ее значения средства развития народного хозяйства, и, наконец, третью, самую крупную, реформу государственного строя сам С. Ю. Витте обрезал своими собственными руками. Как в своей государственной деятельности, так и в своих воспоминаниях Витте выступает без единой руководящей государственной идеи. В них разбросано много отдельных мыслей, но они не объединены ничем, часто совершенно случайны, иногда противоречивы. Единого, цельного мировоззрения нет. Без него С. Ю. Витте и суждено было закончить жизнь просто неудачником, отличавшимся от общего типа русского неудачника крупным умом, да внешним положением, «опалой» блестящей, но, тем не менее, обидной.

Это неудачничество вполне естественно вызывает раздражение и брюзжание, которые у Витте выливаются в совершенно безудержном злословии, расточаемом и виноватым, и правым. «Я думаю,—восклицает Витте,—ни один государственный деятель России и всего мира не был подвергаем стольким самым ужасным сплетням, как я» («Воспоминания», т. I, стр. 247). И, создав себе в воображении роль исключительной

жертвы человеческой несправедливости, Витте отплатил всем, кому только мог, сторицею. Выполнить это ему было тем легче, что в обращении с фактами он не испытывал никакого церемонного чувства. Бесцеремонность в отношении к ним выражается и в сообщении их безо всякой проверки, просто на память, и в сообщении порочащих чужую репутацию сведений и отзывов, ничем не подкрепленных и потому носящих характер сплетен, и, наконец, в умышленном искажении обстоятельств. Эти недостатки могут быть найдены в обоих томах воспоминаний Витте в изобилии. Я не могу дать им перечень исчерпывающий потому, что меня занимает не детальный критический разбор этих «Воспоминаний», а только общий отзыв о них. Для того же, чтобы можно было судить об отношении Витте к тому, что он пишет, и о том, с какой долей осторожности надо подходить к его словам, я приведу несколько выдержек из его повествований.

В самом начале их, упоминая об увольнении в 1894 г. в отставку министра путей сообщения, Кривошеина, Витте говорит, что, по словам тогдашнего государственного контролера, Т. И. Филиппова, Кривошеин «не был вполне корректен в государственной деятельности», так как, пользуясь своим служебным положением, добился проведения железной дороги через свое имение и поставки из него на железную дорогу шпал по высоким ценам (т. I, стр. 16). Сообщив об этом, оцениваемом им как только «не вполне корректный», поступке своего коллеги, Витте добавляет: «признаюсь, я этого не проверял, а поэтому утверждать этого не могу». Но, неожиданно отбрасывая всякую осторожность, он ровно через несколько строк гово-

рит: «я полагаю, что если в представленном докладе [1]) Т. И. Филиппов увеличил в десять раз факты по сравнению с действительностью, следовательно, если бы эти факты уменьшить в десять раз, то и тогда я не могу не сказать, что и этого было бы все-таки достаточно, чтобы признать Кривошеина таким человеком, который не может занимать пост министра, потому что он действовал некорректно в смысле честности» (т. I, стр. 16). Итак, к отзыву о ком-либо другого министра С. Ю. Витте относится с требованием проверки, а когда с отзывом о том же лице выступает он сам, то, забывая о своем требовании, он тут же, без проверки увеличивает суровость отзыва просто, так сказать, на глаз «в 10 раз». При этом нельзя не отметить, что, судя по данному случаю, память С. Ю. Витте не отличается твердостью, или не особенно тверда там, где личный его интерес отсутствует. Оставление Кривошеиным должности министра путей сообщения было событием весьма важным, по исключительности своей обстановки,—можно сказать, историческим: Кривошеин не просто оставил службу, а по повелению Николая II был уволен без прошения в полную отставку за те самые злоупотребления, о которых государственный контролер рассказывал С. Ю. Витте. Случай был таков, которому прецедентов не было в России чуть ли не со времен Петра I, а Витте о нем забыл и отмечает его лишь упоминанием, что он лично «во всей этой истории»

---

[1]) Государственный контролер Филиппов о служебных злоупотреблениях Кривошеина представил Николаю II доклад-

«не принимал решительно никакого участия» (т. I, стр. 17).

Говоря о заместителе Кривошеина, князе Хилкове, Витте замечает, что он «имел маленький недостаток— это слабость к женщинам. Вследствие этой слабости в его карьере были черные точки» (т. I, стр. 23). Ту же слабость он приписывает бывшему в 1895 г. министром иностранных дел князю Лобанову-Ростовскому (т. I, стр. 24), затем своему ближайшему сослуживцу по министерству финансов, Ковалевскому, не останавливаясь на мысли, что такие сообщения, да еще в соединении с намеками на какие-то «черные точки» в карьере министра не должны быть делаемы бездоказательно в силу элементарной порядочности.

Показателен для Витте и его отзыв о том же Лобанове-Ростовском. «Едва ли,—говорит Витте,—он мог быть серьезным министром» и в подтверждение добавляет: «кто-то из моего семейства рассказывал, что Лобанов-Ростовский пришел к обедне в посольскую церковь «одетый чуть ли не в халате» (т. I, стр. 24). А на следующей странице Витте говорит про него, что «он был очень склонен к некоторым серьезным занятиям, так, например, к различным историческим исследованиям» и затем через несколько строк утверждает: «надо сказать, что Лобанов-Ростовский в течение всей своей жизни не занимался серьезным делом» (т. I, стр. 25).

Такие противоречащие один другому отзывы рассыпаны в «Воспоминаниях» С. Ю. Витте на каждом шагу. Так, про великих князей в I томе «Воспоминаний» он пишет, что «все они были люди превосходные» и «достой-

ные» (стр. 10), через несколько страниц утверждает, что великий князь Александр Михайлович представляет из себя человека, главной чертой характера которого является интрига, «можно сказать, что он полон интриг», а в томе II называет всех великих князей людьми «совсем скомпрометированными» (т. II, стр. 45).

Весьма многочисленны и отзывы о людях ложные. Так, по словам Витте, Горемыкин, узнав от него о своем назначении министром внутренних дел, стал уверять его, что перестанет брать, как делали его предшественники, в свою пользу те 50.000 руб., которые ежегодно отпускались министру внутренних дел в бесконтрольное распоряжение. «Но это благое пожелание,— утверждает Витте,—так и осталось благим пожеланием. В конце концов Горемыкин продолжал получать эти 50.000 руб. и тратить их на свои нужды» (т. I, стр. 32, 33). Между тем я, будучи директором департамента полиции, имел случай познакомиться с тем, как эта сумма при разных министрах расходовалась: одни клали ее себе в карман, другие тратили ее на свою охрану, и только один Горемыкин, вопреки ничем не подкрепленному утверждению Витте, на все время своего министерства отказался от пользования ею в каком бы то ни было виде.

Немало злословия расточает Витте по адресу своего товарища по должности министра, В. Н. Коковцева. Но все это злословие не подтверждено ни одной строчкой. Отзываясь о нем, как о человеке, «проведшем всю жизнь в чиновничьих интригах и угодничестве» (т. I, стр. 359), С. Ю. Витте оказывается в силах основать все это только на том, что он сам так «думает» (т. I,

стр. 360). А между тем известно, что Коковцев, уходя в отставку, имел достоинство отказаться от назначенного ему Николаем II подарка в 300.000 руб. из сумм государственного казначейства, мотивировав это тем, что он берег народные деньги не для того, чтобы набивать ими свои карманы. И это при том, что Коковцев обладал средствами очень скромными. А С. Ю. Витте, будучи с своими особняком в Петербурге и виллой в Биаррице человеком, несомненно, богатым, в течение своей карьеры отдельными подарками от царя, из казны умудрился получить до 620.000 руб.,—целое большое, по тогдашним условиям, состояние, о чем он, конечно, в своих мемуарах умалчивает.

Больше всего в «Воспоминаниях» Витте достается Николаю II, императрице Александре Федоровне, Столыпину, кн. Мещерскому, издателю-редактору «Гражданина», и Плеве. Отзывы о первых четверых отличаются крайним раздражением, но, в противоположность многим суждениям Витте о лицах, представляются вполне обоснованными. В них очень мало нового, что не было бы общеизвестно, тем не менее, они представляют огромный интерес грубых по форме, но ярких в силу страстности изложения характеристик, данных человеком крупного ума, близко соприкасавшимся с теми, чью деятельность он описывает. Давая их, С. Ю. Витте с той присущей его натуре неудержимой порывистостью, с которой проявляются все его свойства, сам того не замечая и, конечно, не желая, дал некоторый материал и для своей собственной характеристики. Так старательно и, так сказать, всесторонне облив грязью Николая II, Витте на протяжении всех своих

мемуаров не перестает уверять в своей личной к нему искренней преданности и любви, и, не жалея красок, чтобы очернить Мещерского, попутно рассказывает, как он сам на интимном обеде у него участвовал, какие откровенные беседы на политические темы с ним вел, как устраивал на службу покровительствуемых им молодых людей и как выхлопатывал ему самому денежные пособия (Особое приложение ко II тому «Воспоминаний»). Непримиримой враждой дышат те страницы «Воспоминаний» Витте, которые посвящены Плеве. К биографии этого своего врага, который его и свалил, Витте прибавляет несколько фактов, которые имели бы значение, если бы соответствовали истине. Рассказывая о происхождении Плеве, он утверждает, что «его отец был чуть ли не органистом у какого-то польского помещика» (т. I, стр. 29), что «Плеве происходил из поляков и он переменил свою фамилию, еще будучи молодым человеком» (т. I, стр. 194) и что, наконец, Плеве «ренегат», переменивший религию «из-за карьеры» (т. I, стр. 29). Все это от начала до конца неверно. Ни фамилии своей, ни религии Плеве не менял, а отец его был штатным смотрителем городского училища в городе Мещевске, Калужской губ. Затем Витте сообщает дословно следующее: после смерти Плеве в его портфеле «было найдено письмо, будто бы агента тайной полиции какой-то еврейки одного из городов Германии, если я не ошибаюсь,—говорит Витте,—Киссингена, в котором эта еврейка сообщала секретной полиции, что будто бы готовится какое-то революционное выступление против его величества, связанное с приготовлением бомбы, которая должна быть

направлена в его величество, и что будто бы я принимаю в этом деле живое участие. Как потом я выяснил,—пишет далее Витте,—это письмо было ей продиктовано. Очевидно, план Плеве был таков, чтобы получать такие письма от агентов его, в которых бы сообщалось о том, что я принимаю участие в революционных выступлениях и, в частности, в покушении на жизнь моего государя императора Николая, с тем, чтобы Плеве мог невинным образом подносить эти письма государю» (т. I, стр. 198). В этом сообщении С. Ю. Витте искажает истину до того, что от нее почти ничего не остается. И что весьма удивительно, неизвестно, зачем он это делает, ибо, если бы он передал истину без прикрас, она много вернее всякого вымысла дала бы ему в руки то оружие против врага, которое он в настоящем случае ищет. И тайные агенты, и еврейка из Киссингена, и подлог письма,—все это плоды вымысла, тем более злостного, что самому Витте история приписывает как раз пользование тем средством, пользование которым он в данном случае приписывает Плеве.

Случай, который подал Витте повод к его рассказу, в действительности был таков: после смерти Плеве был произведен официальный осмотр хранившихся в его кабинете бумаг, дабы выделить все, что относилось к делам министерства. Я присутствовал при этом. В среднем ящике письменного стола Плеве, где хранились наиболее секретные документы, между ними оказались две пачки перлюстрированных писем. Одна, кстати сказать, заключала мои личные письма к моему, ныне покойному, двоюродному брату, Сергею Трубецкому, тому, который затем в числе представителей земских съездов

выступал в 1905 году, в Петергофе, перед Николаем II с известной своей речью. Вся пачка состояла из коий моих писем, два же письма, своевременно Трубецким не полученные, лежали в папке в подлинниках. Переписка эта касалась текущих событий и содержала осуждение политики Плеве. Нового в ней для него ничего не было, так как мнение мое об его политике я от него не скрывал. Подлинные же письма мои были задержаны и хранились у Плеве, по всей вероятности, потому, что в них я, как потом оказалось, безошибочно и в отношении сущности и характера, и в отношении срока доказывал близость революции и неизбежность свержения самодержавия.

Во второй пачке вместе с копией письма Витте к лицу ему близкому, содержавшего злобную критику политики Плеве, были копии писем посторонних Витте лиц друг к другу,—лиц, в полиции ни в каких ролях на службе не состоявших. В этих письмах, в обмене мнений о Витте, никаких сообщений о чьих-либо революционных замыслах не делалось, а со свойственной представителям крайних правых течений грубой убежденностью высказывалось мнение о неоспоримости деятельности Витте на пользу революции. Такое убеждение со ссылками на всем будто бы известную близость Витте к организациям, которые при этом именовались «жидо-масонскими», держалось в правых кругах в то время весьма упорно. В этих письмах было нечто, что располагало к доверию к ним того читателя, на воздействие на которого перлюстрация была в данном случае рассчитана: они носили яркий отпечаток монархических взглядов корреспондентов и личной пре-

данности их Николаю II. Все эти копии были приобщены к собственноручной записке Плеве, при которой он представлял их для прочтения государю, на которой оказалась и резолюция последнего. В записке Плеве по существу приложенной к ней переписки не было сказано ничего, но подбор писем был таков, что в «августейшем» читателе должен был возбудить приблизительно такой ход мыслей: Витте подвергает резкой критике политику Плеве. А так как он не смеет же думать, что она может вестись помимо моей воли, то он дерзает осуждать мою политику; а потому правы те мои верноподданные, которые считают Витте революционером. И на записке Плеве Николай II написал сентенцию о том, как тяжело разочаровываться в своих министрах. Не достаточно ли было С. Ю. Витте остановиться в своих воспоминаниях на этой вполне точно соответствующей действительности версии о письмах, с которыми Плеве против него выступал?

Конечно, Витте повторяет распространенное обвинение Плеве в организации кишиневского погрома, не приводя, впрочем, в подтверждение этого никаких данных. Он говорит: «когда министром внутренних дел стал Плеве, то он, ища психологического перелома в революционном настроении масс во время японской войны, искал его в еврейских погромах, а потому при нем разразились еврейские погромы, из которых был особенно безобразен дикий и жестокий погром в Кишиневе» (т. I, стр. 193). В этом решительном обвинении Витте забыл, что кишиневский погром произошел в апреле 1903 г., а японская война началась в

январе 1904 года и, следовательно, в вызванные ею политические планы Плеве погром этот никак входить не мог. Несколькими строками ниже Витте как бы пытается смягчить свое отношение к этому обвинению и говорит:

«Я не решусь сказать, что Плеве непосредственно устраивал эти погромы, но он не был против них» (т. I, стр. 193). Но от этой попытки не остается ничего после дальнейшего утверждения Витте, что «Плеве входил с еврейскими вожаками в Париже, а равно и с русскими раввинами в такие разговоры—«заставьте ваших прекратить революцию, я прекращу погромы» (т. I, стр. 193). Не говоря уже о том, что за все время министерства Плеве ни он в Париж не ездил, ни «еврейские вожаки» к нему оттуда не приезжали и что свидание между ними могло быть только в воображении С. Ю. Витте, не будет ли, по меньшей мере, легкомысленным допустить возможность того, что Плеве, в признании за которым ума ведь нельзя же было отказать, что Плеве признавался перед «еврейскими вожаками» в организации еврейских погромов? Каковы бы ни были политические грехи Плеве, организация кишиневского погрома ему, по моему глубокому убеждению, приписывается несправедливо. Антисемитизм его не подлежит сомнению, но ведь одного этого для того, чтобы человеку умному приписывать меру не только гнусную, но и политически глупую, мало. А кроме его антисемитизма было только воспроизведение в «Освобождении» письма Плеве к бессарабскому губернатору, содержавшее полупризнание в организации погрома. Но, по произведенному мною тщательному расследова-

нию, письмо это оказалось подложным. Рядом же с этим, неоспоримым остается факт увольнения, и увольнения по настоянию Плеве, бессарабского губернатора Раабена за бездействие власти во время кишиневского погрома. Ввиду этого не С. Ю. Витте предъявлять другим бездоказательные обвинения в погромах, когда сам он в своих мемуарах сообщает, что несомненный виновник организованного во время премьерства Витте погрома гомельских евреев жандармский ротмистр граф Подгоричани остался безнаказанным, а из тех же мемуаров явствует, что для того, чтобы добиться его наказания, Витте и пальцем не пошевелил.

После всех тех, кого Витте в своих «Воспоминаниях» осуждает и порицает, интересно посмотреть, кого он хвалит. Тут получаются неожиданности изумительные.

Так, нет таких льстивых слов, которые Витте не расточал бы, чтобы превозносить Александра III. А вместе с ним объектом похвал оказывается генерал Новицкий, по словам Витте, «человек способный, весьма энергичный, весьма порядочный и хороший человек» (т. II, стр. 420). Тот самый Новицкий, который за многие годы своей службы, в особенности начальником Киевского жандармского губернского управления, стяжал себе печальную известность ограниченностью ума, крайним невежеством и совершенной бессовестностью.

В своем преклонении перед Александром III Витте говорит, что «имел величайшее счастье, какое только может иметь русский человек, хорошо знать и быть ближайшим сотрудником его», и в порыве верноподданнических чувств восклицает, что его следовало бы назвать «чистый», «светлый», даже, пожалуй, «честный»

в высшем значении этого слова» (т. II, стр. 222, 223). И это говорится про того самого Александра III, который все свое царствование трусливо прятался за стенами Гатчинского дворца, который в роде уфимских чиновников, растащивших в его царствование башкирские земли, захватил из государственных имуществ в свою личную пользу ценнейшее Мургабское имение, чье царствование было в истории России одним из самых тяжелых и закончило подготовлявшиеся его предшественниками ее обнищание и политическое бессилие.

Впрочем, когда С. Ю. Витте пытается доказать высокие качества Александра III, результаты получаются весьма для его памяти неудачные. Благородство души Александра III он демонстрирует на его отношении к финляндской конституции. По мнению Витте, этот император при всем его несочувствии конституции Финляндии, тем не менее, соблюдал ее, как скрепленную «царским словом» его предшественников, и не допускал применения к ней, как пишет Витте, «направления, истекавшего из теории необязательности царского слова, если того благо требует» (т. II, стр. 222). И не мог одобрить «путь политического иезуитства, по которому проводятся, с одной стороны, законодательные меры, в корне нарушающие основные начала конституционной самостоятельности Финляндии, а, с другой стороны, уверяют, что этим отнюдь не уничтожается финляндская конституция» (т. II, стр. 223). Будучи врагом таких приемов, Александр III, по удостоверению Витте, только старался «вводить объединенные основания для управления Финляндией на общих основаниях со всей

империей». При чем в пояснение этих «общих оснований» указывается на «почтовое управление, основы уголовных законов, особенно по государственным преступлениям» (т. II, стр. 222, 223). Как будто введение в управление Финляндией общих оснований с управлением России без введения в последней конституционного образа правления не есть нарушение конституции Финляндии, как будто от ее конституции что-нибудь осталось бы с применением к ее гражданам действовавших в России при Александре III законов «о государственных преступлениях» и как будто такие планы в отношении Финляндии не представляют из себя «политическое иезуитство»?! Впрочем, из дальнейшего явствует, что пользование теорией «необязательности царского слова, если того благо требует», Витте считает нечестным только для других, а когда известный государствовед Чичерин указал ему на грубое нарушение финляндской конституции указом о порядке разрешения общих для Финляндии и России дел, Витте в оправдание сослался на «практическую необходимость», и при рассмотрении в комитете министров проекта военного министра Куропаткина об упразднении отдельного финляндского войска Витте, по его же признанию, защищал этот проект соображениями о том, что «государь, как неограниченный самодержавный император Российский и великий князь Финляндский, имеет долг принимать все меры, поскольку они вызываются существенной необходимостью, «и что, по его, Витте, убеждению, «существо вопроса лежит не в праве, а в действительной необходимости» (т. II, стр. 232).

С точки зрения не права и не морали, а исключительно практической относится С. Ю. Витте и к такому приему «верховного управления», как перлюстрация частной корреспонденции, и свидетельствует, что «за все время своего председательства не наткнулся ни на одно письмо, которое с точки зрения государственной или полицейской могло бы быть сколько-нибудь полезным» (т. II, стр. 274). При этом он заявляет, «что перлюстрация служит большим злом», что она «приносила вред» и ему лично, так как, когда он был председателем совета министров, ему «одно время давали все эти письма, и я знаю по себе,—пишет он,—как эти письма влияют на нервы и возбуждают различные чувства» (т. I, стр. 28; т. II, стр. 274). Странными представляются жалобы Витте на то, что ему как бы навязывали чтение перлюстрированных писем. Он рассказывает, что, по назначении его председателем совета министров, Дурново, министр внутренних дел, прислал к нему чиновника за указанием относительно доставления ему перлюстрированных писем. «Я,—говорит Витте,—никаких указаний не дал и по этому вопросу затем не имел никаких объяснений с Дурново, но он мне аккуратно ежедневно присылал папку с перлюстрированными письмами. Я их пробегал» (т. II, стр. 274). Совершенно непонятным представлялось бы, почему, считая перлюстрацию не только не полезным приемом, но даже «большим злом», Витте не воспользовался властью председателя совета министров для того, чтобы с этим «злом» покончить. Но всегда лучше всех осведомленные о деяниях своих начальств чиновники, подчиненные Витте и Дурново, об их сношениях по по-

воду перлюстрации рассказывали совсем иное. По их рассказам, Дурново настойчиво отстаивал исконно принадлежавшее министрам внутренних дел монопольное право на перлюстрацию, которым они делились только с царями, Витте же добивался участия в этом занятии. Вопрос как совершенно, в виду введения «правопорядка», в истории России новый, по жалобе Витте восходил на «благоволение» верховной власти и ею был разрешен в пользу Витте.

II.

Ходынская катастрофа.

У современников воцарения Николая II до конца их дней не изгладится воспоминание о катастрофе на Ходынском поле, во время происходивших в 1896 г. в Москве коронационных торжеств. С. Ю. Витте в своих мемуарах посвящает ей отдельную главу (т. I, гл. III, стр. 58—64), но в ней ни описания этого события, ни рассказа о причинах, его создавших, и об отношении к нему различных общественных классов нет. Все, чем это народное несчастье привлекло к себе внимание Витте, это его внешнее уродство, нарушившее лощеную красоту коронационных церемоний, и та придворно-бюрократическая интрига, которая около него завязалась. Но даже здесь, в отношении к этой, повидимому, полной для него живого интереса стороне события, автор воспоминаний не нашел нужным проверить точность сообщаемых им фактов. Интересуясь лишь перипетиями интриги, он в своем рассказе связал ее с такими обсто-

ятельствами, которые далеко расходятся с действительностью.

В коронацию 1896 г. я был товарищем прокурора Московского окружного суда и был первым должностным лицом, командированным на Ходынское поле, чтобы выяснить, что там произошло; мне пришлось затем участвовать в официальном расследовании причин катастрофы и благодаря чисто личным связям быть подробно осведомленным о том, что происходило в министерских и царском кабинетах, где «дело» о Ходынской катастрофе получило разрешение.

В литературе, насколько мне известно, кроме составленных под свежим впечатлением и по тогдашним цензурным условиям довольно сдержанных газетных сообщений, имеется только одно обстоятельное и, по моему мнению, весьма близкое к действительности описание Ходынской катастрофы. Оно принадлежит перу А. Амфитеатрова и появилось лет 10—12 тому назад в одном из наших повременных изданий. Бедность литературного материала для выяснения и оценки этого события заставляют меня в рассказе о нем пойти дальше попытки восстановления истины в повествовании С. Ю. Витте и передать все, что мне о нем известно. Большое историческое значение этого события неоспоримо: оно сыграло крупную роль в определении отношения народа к господствовавшей в то время власти и является яркой характеристикой этой власти.

Вот один из штрихов, характеризующих самого Витте как видного представителя этой власти.

Ли-Хун-Чан, посланник китайского богдыхана на коронации Николая II, узнав о катастрофе на Ходынке,

спросил С. Ю. Витте, неужели о несчастии этом будет доложено государю, и сказал, что, когда в управляемой им провинции была сильная чума, он доносил богдыхану, что все обстоит благополучно, по тому соображению, что не зачем главу государства беспокоить печальными вестями, когда все равно горю этим не поможешь. С. Ю. Витте, передавая об этом в своих мемуарах, не без чувства национальной гордости добавляет, что, выслушав Ли-Хун-Чана, этого выдающегося, по словам Витте, государственного мужа, он подумал о том, как все-таки «мы» далеко ушли от Китая (т. I, стр. 58). А через несколько строк после сообщения о рассуждениях китайского сановника Витте, рассказывая, как сам он принял весть о Ходынской катастрофе, говорит: «меня мучил прежде всего вопрос: как же поступят со всеми этими трупами убитых людей, успеют ли поразвозить по больницам тех, которые не умерли, а трупы свезти в какое-нибудь такое место, где бы они не находились на виду у всего остального веселящегося народа, государя, всех его иностранных гостей и всей тысячной свиты» (т. I, стр. 58). Вот «первая» мысль Витте при вести об ужасах Ходынки. Она, повидимому, осталась и единственной,—по крайней мере, о других по этому поводу Витте в своих воспоминаниях умалчивает. При этом в чиновничьем самодовольстве он, конечно, и не подумал, как он в своих размышлениях недалеко ушел от рассуждений китайского мандарина.

Так называемый народный праздник на Ходынском поле был назначен на 18 мая и должен был начаться раздачей хлеба, колбасы, сластей, пива, эмалированных кружек и полотенец и сопровождаться разными

увеселениями. В особый павильон, выстроенный на краю поля, вблизи Петербургского шоссе, к 12 часам дня должны были собраться министры, двор, иностранные гости и царская свита, а ровно в 12—приехать царь и царица. По появлении их на балконе павильона, обращенном к полю, должен был грянуть расположенный перед балконом оркестр под управлением директора Московской консерватории, Сафонова, составленный изо всех бывших в то время в Москве оркестров военных и невоенных, а затем поднятый на высокой мачте флаг возвестил бы о начале раздачи подарков. Таково было официальное расписание празднества.

Весть о нем газетами и стоустой молвой была с совершенно легендарными подробностями разнесена по России. И еще с утра 17 мая стал наблюдаться необычайный прилив в Москву крестьян из ближних и дальних мест, шедших пешком и приезжавших по железным дорогам. Поезда приходили набитые и облепленные пассажирами так, что ни в коридорах, ни на площадках и ступеньках вагонов свободных мест не было. Все это двигалось к Ходынскому полю и заполняло его, располагаясь основательно, с запасами провизии и, главное, водки. С полдня 17 мая на Ходынку начали двигаться московские городские обыватели также с запасами провизии и вина. Несметное количество народа, направляясь почти исключительно из города и от железнодорожных вокзалов, т.-е. тоже из города, занимало только ту часть Ходынского поля, которая примыкала к городу. Ее границами были: город сзади толпы, по правую ее сторону Петербургское шоссе с идущими вдоль него канавами, слева—

ямы и рытвины, за которыми тянулась территория военного лагеря, а спереди линия будок, предназначенных для раздачи из них подарков. Вот в этом четырехугольнике приблизительно в одну квадратную версту и скопилась вся масса народа, по мнению людей опытных в подсчете толпы на глаз, до полутора миллиона человек. Этот четырехугольник и стал местом катастрофы.

Будки для раздачи подарков, в линию которых упиралась толпа, были построены в виде трехугольных ящиков вышиной в сажень; основаниями трехугольников они были обращены к центру поля, а к городу— верхними углами. Обе стороны, стены, обращенные к городу, были глухие, а обращенная к центру поля с высоты полутора аршина от земли и доверху была открытой. Из этой открытой стороны и должны были раздаваться подарки народу, который, предполагалось, сосредоточится со стороны линии будок, обращенной не к городу, а в поле. Будки были расставлены друг от друга аршина на 2, а между каждыми 20-ю будками были разрывы по нескольку десятков саженей так, что народ мог свободно проходить со стороны города на другую сторону линии будок. Они были построены из теса настолько прочно, что, когда миллионная толпа рванулась и оставила после себя кучи трупов, ни одна будка не была повреждена.

Толпа, располагаясь в пределах вышеописанного пространства, занимала его кучками, сидевшими и лежавшими. Затем, по мере того, как новые людские волны притекали от города, толпа передвигалась, пересаживаясь и перекладываясь, все ближе и ближе

к линии будок. Часам к 8—9 вечера 17 числа теснота в четырехугольнике, замкнутом городом, канавами шоссе и лагеря и линиями будок, была уже так велика, что сидеть и лежать было негде,—толпа начала подыматься на ноги. К 10 часам вечера она уже вся стояла. А от города напирали все новые и новые волны народа. Толпа стала сжиматься так, что, стоя в ней, уже нельзя было выпростать и поднять руку. Среди нее движений отдельных лиц уже не было,—она вся слилась, как единая масса, и, как рассказывали свидетели, так целиком, медленно покачивалась из стороны в сторону. К моменту катастрофы теснота была такова, что конный казак, попытавшийся протиснуться в толпу, чтобы хоть немного, хоть с края ее рассеять, был стиснут ею так, что она несколько приподняла его с лошадью, как бы выпирая из себя коня и всадника.

Часов с 3-х ночи положение стало столь грозным, что многие, не могши выбраться из толпы сами, спасали своих детей, отправляя их по головам толпы. Их кучки рассеялись на ближайшей к месту катастрофы трибуне для публики.

Так продолжалось до 6 часов утра. Толпа, в которой, как потом оказалось, уж в течение нескольких часов были сотни мертвецов, стояла неподвижно, терпеливо ожидая разрешения на проникновение к обетованным подаркам. Для движения вперед, для того, чтобы спокойно, еще когда теснота только образовывалась, продвинуться за линию будок и воспользоваться простором поля, по нему рассеяться, толпа не имела перед собой никаких преград. Линия будок имела, как я ска-

зал выше, столько широких разрывов, что помешать движению не могла, да, в конце концов, и не помешала. Препятствия перед толпой не было и в виде полицейской или военной силы, ибо и та, и другая на полтора миллиона тесно сбившихся в одну сплошную массу человек состояла из разбросанных по периферии поля нескольких десятков городовых и казаков. Единственное, что толпу удерживало перед запретной чертой, это исконная привычка к беспрекословному повиновению. Газеты и молва предупредили ее, что она должна ждать разрешительного сигнала,—она его и ждала, сама себе в своем воображении создав эту запретную черту в виде линии будок, источников ожидавшихся благ.

Оцепенение этой человеческой массы, уже ставшее для нее самоубийственным, могло разрядиться только какой-нибудь случайностью. И вот около 6 часов утра кто-то, стоявший наверху ближайшей трибуны для публики, махнул шапкой. Это было принято толпой за ожидавшийся сигнал, она рванулась за линию будок и там тотчас же рассеялась. Это не было стремительное бегство, это было как бы короткое, судорожное движение. За ним, на месте, где толпа стояла, обнажились кучи почти бесформенных тел; только несколько трупов были вынесены толпой за линию будок.

Когда около 10 часов утра я ехал на извозчике на Ходынское поле, все шоссе, начиная от заставы, было сплошь покрыто народом; движение экипажей местами было затруднительно, да их было и немного. Но мне представлялось, что, когда, поспевая к 12 часам, они с почетными гостями нахлынут из города,

не миновать новых несчастий: настолько компактна была толпа, а полиция, которая могла бы регулировать движение, совершенно отсутствовала. Но впоследствии, очевидно, также по той же привычке, с началом приезда мундирной публики толпа сама собой очистила шоссе и расположилась по его сторонам. Зато таким, как я, первым и одиночным проезжим в форменных пальто и фуражках было не особенно легко, а главное, очень жутко ехать. Толпа была в высшей степени озлоблена, и среди нее было много пьяных. Когда я оставил извозчика и пешком отправился к месту катастрофы, продвигаться по толпе приходилось под подымавшиеся при виде форменной фуражки негодующие крики по адресу «начальства», приезжающего глядеть на народное несчастье, предупредить которое оно не сумело.

Вскоре на место приехали тогдашний директор департамента полиции, Зволянский, и начальник царской охраны, генерал Ширинкин, единственные должностные лица, которые, кроме меня, приехали из Москвы на место несчастного события. Мы втроем по указанию встреченного нами помощника пристава пошли осматривать жертвы катастрофы. Чем ближе к ним, тем раздражение толпы сказывалось сильнее. И чем сильнее оно сказывалось, тем больше слышалось одно имя, Власовского, московского обер-полицейместера. Его вина в событии уже появилась в сознании народа.

По линии будок мы увидали лежавшими довольно симметрично, в небольшом от них расстоянии местами отдельные трупы, местами, в буквальном смысле слова, груды тел; в некоторых кучах их было по

восьми по десяти. Все это были полураздавленные, изуродованные тела в рваных одеждах. Солнце в это утро пекло немилосердно, поэтому разложение трупов уже было очень велико. И, несмотря на ужас этой картины и невероятный смрад, тут же в толпе, при всем ее угрюмом раздражении, кое-где уже была слышна гармоника, и люди, сидя кучками около мертвых тел, пили водку и закусывали.

Ко времени нашего появления уборка раненых и умерших была уже полицией организована, была уже медицинская помощь. Ей в виду полного отсутствия легко раненых нечего было делать, кроме как руководить развозкой тел. Организации «скорой медицинской помощи» в то время в Москве еще не было, почти не было лазаретных повозок. Развозка тел с Ходынки производилась на собранных полицией, в довольно значительном количестве, полках ломовых извозчиков.

«Когда я приехал на место,—говорит С. Ю. Витте в своих «Воспоминаниях»,—то уже ничего особенного не заметил, с утра успели все убрать, все было замаскировано и сглажено» (т. I, стр. 58). Это неверно. И не заметил Витте ничего особенного только случайно. Эвакуация трупов продолжалась до 4 часов вечера. Еще часа в 3 я лично видел направлявшиеся в город подводы с грудами тел, прикрытых рогожами, из-под которых высовывались окровавленные головы и ноги. Встретили их на своем пути и царь с царицей.

Осмотрев место катастрофы, я пошел к царскому павильону, чтобы найти там министра юстиции. Вблизи павильона я встретил двоих знакомых мне уездных предводителей дворянства Московской губернии, ко-

торые, обратясь ко мне с расспросами о подробностях события, сообщили, что в среде предводителей дворянства возникла мысль просить государя отправиться на место, где еще оставались тела, и отслужить над ними панихиду, дабы показать сочувствие народному горю, и спросили мое мнение по этому поводу. Мне такая демонстрация показалась фальшивой; к тому же она только помешала бы работе по отделению раненых от мертвых и распределению их по повозкам. А затем мне представлялось, что затея эта может обратиться в опасную провокацию: появление Власовского даже и в царской свите едва ли спасло бы его от гнева толпы, и весьма возможно, что панихида окончилась бы разгоном толпы полицией или войсками. Недоставало бы еще того, чтобы после гибели по вине власти около полуторы тысячи человек эта власть в отношении к оставшимся в живых пустила в ход нагайки, предварительно собрав народ для совместной с царем молитвы. По тому ли, что я высказал это предводителям дворянства или по другим причинам, но план их исполнен не был. У собравшейся на торжество толпы план был иной: подтащить к павильону и показать царю одну из жертв преступного бездействия его чиновников. Толпе удалось протащить один изуродованный труп только до полдороги от павильона, где он и был брошен.

Разразившаяся над собравшимся на празднество народом беда не помешала программе празднества быть выполненной. Но не успело оно закончиться, как около только что пережитого события завязалась ведомственная борьба.

Народ сразу, единодушно указал виновного. Полиция, сознавая свою вину, тотчас попыталась свалить ее на чужую голову. И еще во время самого праздника в стенах царского павильона на Ходынке, на упреки обступивших его сановников, в бездействии власти, Власовский заявил, что он и его полиция не при чем, так как Ходынское поле на время народного праздника было взято министерством двора в свое ведение, при чем в подтверждение этого отвода сослался на то, что выбор плана построек на поле, выбор для них и осмотр места были произведены дворцовым ведомством без участия московской полиции. Заявление это было совершенно вздорным, равносильным тому, как если бы Власовский стал утверждать, что за происшедшую на городской площади давку толпы, расходившейся из железнодорожного вокзала, ответственно железнодорожное начальство, а не городская полиция потому, что железная дорога построена без совещания с представителями полиции. Важно то, что ни специального закона, ни даже административного распоряжения, которым охрана порядка и безопасности на Ходынке на время народного праздника была бы изъята из ведения полиции и передана органам министерства двора, издано не было. Но одни на это не обратили внимания, а другим интересно было принять сторону Власовского и полиции потому, что за ними стояла фигура великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, пользовавшегося, как известно, особым влиянием на Николая II, благодаря своему браку на сестре его жены. И вот утверждение Власовского, подхваченное многими голосами, послу-

жило источником двух версий объяснения непосредственных причин несчастного события. Даже те, кто поверили или делали вид, что поверили рассказу Власовского, не могли, конечно, утверждать, что вина дворцового ведомства заключалась в непринятии мер к недопущению скопления толпы. Поэтому, по одной версии, все, кто на Ходынке погибли, погибли в старых заброшенных колодцах, оставленных чинами министерства двора без оград и прикрытий. По другой же версии, линия будок раздачи подарков была столь непроницаема, что помешала толпе рассеяться по полю, и что будто бы многие, будучи прижаты к стенам будок, были таким образом раздавлены. Конечно, и представители придворного ведомства с их сторонниками не оставались в долгу у полиции и сыпали на нее свои обвинения.

С. Ю. Витте рассказывает, что для разрешения ведомственной распри «расследование было поручено министру юстиции Муравьеву». Изложение этого расследования составило, по словам Витте, «маленький том, ныне секретный», экземпляр которого будто-бы попал в архив Витте (т. I, стр. 62). «Назначение Муравьева производить расследование, — говорит Витте,—понималось в Москве как преобладающее влияние великого князя Сергея Александровича. Но влияние это, повидимому, продолжалось недолго, потому что явилось другое влияние—преобладающее,—влияние министра двора; влияние это понималось как влияние императрицы Марии Феодоровны. Ввиду этого было поручено произвести новое расследование бывшему министру юстиции, графу Палену» (т. I, стр. 63).

Что министр юстиции Муравьев был человеком, преданным в. к. Сергею, а мать Николая II поддерживала министра двора, графа Воронцова-Дашкова, все это верно, но совершенно неверны утверждения Витте, что сначала Муравьеву, а затем Палену было поручено производство расследования о Ходынской катастрофе. Ни тот, ни другой поручения такого не получали и никакого расследования не производили. Эти неверные сообщения Витте имеют весьма существенное значение, ибо создают впечатление, будто расследование события на Ходынке находилось сначала под воздействием одной интриги, а затем попало в руки другой, будто объективного исследования никогда произведено не было, и истина осталась скрытой навсегда. Между тем все это не так. Единственной процедурой, выяснявшей в Ходынской катастрофе истину и, надо отдать справедливость, только истину, было следствие, произведенное законным порядком, судебным следователем по особо важным делам при московском суде, Павлом Федоровичем Кейзером, приступившим к нему в день самого события.

П. Ф. Кейзер был не «исправляющий должность следователя», а, как тогда называлось, «утвержденный» следователь, т.-е. несменяемый. Таким образом, формально он находился в положении независимом. Но независимость его обеспечивалась еще более его личными качествами. Это был человек безукоризненно честный, умный, обладавший большой выдержкой и большим деловым опытом и притом чуждый карьеризма. Его независимость блестяще выдержала испытание именно по ходынскому делу, ибо, получив предупреждение началь-

ства, что дело это будет изъято из ведения суда и он получит соответствующий ордер, он, в свою очередь, предупредил, что такой ордер оставит без исполнения и направит дело в порядке, установленном законом, так что начальству пришлось выждать, когда следствие было доведено до конца и из рук Кейзера выбыло.

Мне при этом следствии пришлось наблюдать за производившимися полицией по поручениям Кейзера дознаниями по собиранию предварительного материала, присутствовать при осмотре следователем Ходынского поля и удалось прочесть все произведенное Кейзером следствие по его окончании. Все, что мною передано выше о положении толпы на Ходынке и о самом моменте катастрофы,—все это установлено судебным следствием путем допроса многочисленных свидетелей и местных осмотров.

Этими осмотрами с точностью была установлена ложность двух упомянутых мною версий о причинах несчастия. Во-первых, было выяснено, что система будок для раздачи подарков вызвать несчастия не могла, так как не была в состоянии послужить препятствием к рассеянию толпы. А во-вторых, судебным следствием были тщательно осмотрены все рытвины и ямы, находившиеся на Ходынском поле; при чем оказалось, что ни в одной из них ни одного трупа не было и что все они расположены в стороне от места, где находилась толпа и где катастрофа произошла.

Следствие выяснило неверность еще одного составлявшего убеждение большинства мнения, что люди были затоптаны толпой, когда она после терпеливого

ожидания, послушавшись ложно понятого сигнала, рванулась вперед. Оказалось, что затоптаны-то были *мертвые; трупы.* Судебно-медицинским вскрытием многих погибших на Ходынке было констатировано, что смерть одних последовала от асфиксии, других—от солнечного удара, а раздавлены они были уже потом, будучи мертвыми. И действительно, много лиц, стоявших в толпе на Ходынке, на следствии удостоверили, что люди умирали на их глазах стоя, и так и оставались стоять, поддерживаемые толпой. Мне самому пришлось слышать рассказ свидетеля, стоявшего между двумя покойниками. Движение толпы заставило мертвые тела опуститься, попадать, а затем они уже и были затоптаны.

Что касается непосредственных причин смертей, то для их объяснения следствие обнаружило одно интересное явление. Мимо стоявшей на Ходынке толпы, по шоссе, шло обычным чередом движение пеших и экипажей, кроме того, вокруг толпы было рассеяно несколько десятков городовых и казаков. И вот эти люди показали следователю, что вскоре после того, как толпа под давлением новых притоков народа поднялась на ноги, над головами ее стали заметны ее испарения. Толпа состояла из людей, плотно закусивших и хорошо выпивших, многие были сильно пьяны; жара стояла страшная,—термометр в ночь на 18-ое мая показывал после заката солнца 20° по Реомюру, а чуть солнце встало, температура быстро поднялась. Когда начало светать, часов около 4-х утра, толпа, по рассказу свидетелей, стояла как бы покрытая густым, темно-серым паром, слой которого был до ар-

шина толщиной. Толщина его к моменту катастрофы доходила уже до 2½—3 аршин. Эти густые скопления людских испарений пресекли доступ к толпе кислорода,—для нее как бы не хватило в небе воздуха. Непосредственными последствиями этого явления и жары и сделались удушения и солнечные удары.

Логическим выводом из всего, доказанного следствием, было, что первопричиной несчастия явилось чрезмерное скопление народа на небольшой сравнительно площади, обусловленное тем, что движение народа на Ходынское поле не было никем организовано. А так как один факт устройства на Ходынском поле строений и разных приспособлений для народного праздника министерством двора не переносил на него обязанностей по охране во время праздника порядка, да у него для того не было и соответствующего аппарата, то, очевидно, охрана порядка оставалась на обязанности полиции. Она эту обязанность не исполнила.

Как практически могла она ее выполнить? К следственному производству была приобщена бумага московского генерал-губернатора на имя обер-полицейместера Власовского, напоминавшая ему его право по уставу о гарнизонной службе воспользоваться в случае надобности вызовом в помощь полиции войск, для охраны порядка во время коронационных торжеств и, в частности, во время народного праздника на Ходынском поле. Эта бумага формально как бы снимала ответственность с великого князя. Но дальше этой канцелярской отписки он не пошел и успокоился в полном неведении о том, что полицией сделано для охраны

порядка при том исключительном скоплении народа на Ходынке, которое он, как и все, предусматривал. По тому, что великий князь Сергей из себя представлял, надо думать, что в своем наставлении Власовскому он под охраной порядка разумел не обеспечение явившихся на праздник обывателей от тесноты и давки, а охрану кого-то от этих самых обывателей, обеспечение их благоприличного поведения перед лицом тех, благоприличие толпы перед лицом коих озабочивало и С. Ю. Витте,—«государя, всех его иностранных гостей и всей тысячной свиты». Как бы то ни было, рекомендованное генерал-губернатором примитивное средство, конечно, могло бы послужить к урегулированию движения народа на Ходынское поле и к рассеянию его на самом поле. Но, оказывается, старый опыт рекомендовал остроумное и безобидное средство, эффективность которого была вне сомнений, но которое почему-то новым московским управлением было забраковано, может быть, именно вследствие одностороннего понимания им порядка и его охраны. Оказывается, что в 1883 г., в коронацию Александра III московские генерал-губернатор, князь Долгоруков, и обер-полицеймейстер, Козлов, люди не особенно мудреные, но понимавшие, что на их обязанности лежит забота о безопасности не одного царя, а и народа, для устранения скопления его на Ходынском поле во время такого же праздника прибегнули не к вооруженной силе, а к музыке. Несколько оркестров были посланы на Ходынку с вечера кануна праздника и, расположившись в разных местах, играли по очереди до рассвета, все время держа толпу в движении.

Таковы были данные следствия. Им было установлено, что бездействие московских властей стоило жизни 1389 человекам.

Ввиду того, что следствие пришло к признанию виновности лиц должностных, оно для предания их суду должно было, согласно действовавшему закону, быть передано их начальству. Но, помимо всякого закона, оно получило иное направление.

Все следственное производство о Ходынской катастрофе было напечатано в ограниченном количестве экземпляров. Весьма возможно, что один из них попал и к С. Ю. Витте, и его он в своих записках подразумевает под «маленьким томом» расследования министра юстиции Муравьева. Возможно, что к Витте попал доклад, вернее, копия доклада, Муравьева по поводу следствия, произведенного следователем Кейзером. Такой доклад был составлен. Я его не читал, но знаю его содержание со слов лиц, его читавших.

Муравьев, как верно замечает Витте («Воспоминания», т. 2-й, стр. 62), своей карьерой в значительной мере был обязан великому князю Сергею. Поэтому его стремления были направлены к тому, чтобы оградить от скандала, а, может быть, и от законного наказания, главу московской администрации. Тогда Николая II еще мало знали. Он по молодости, казалось, еще мог оказаться чутким к правде в таком вопиющем деле. Придворные передавали два-три случая, когда он после воцарения довольно резко обрывал коекого из великих князей. Были ввиду всего этого люди, которые питали надежды, что ходынские жертвы не пройдут бесследно и, если вообще не устранят безот-

ветственных членов императорской семьи от государственных дел, то хотя избавят Москву от великокняжеского управления. Возможность этой меры в то время в обывательских чаяниях допускалась, ее необходимость, во всяком случае, сознавалась большинством населения Москвы. Тем более для Муравьева представлялась надобность, если уж нельзя было замять совсем Ходынское дело, ослабить его впечатление. Он понимал, что полное прекращение дела невозможно, что кем-нибудь пожертвовать надо и что этим кем-нибудь должно быть одно из лиц, виновность которых признавалась общественной совестью. А о виновности других надо было заставить эту совесть скорей позабыть. Для себя же лично Муравьеву было необходимо устранить повод к упрекам по его адресу из великокняжеских дворцов. Все это требовало устранения гласности, а так как такое дело, как Ходынское, даже бессовестным людям судить при закрытых дверях было совестно, то, как выход, само собой подсказывалось устранение суда.

В таком смысле и был составлен доклад Муравьева Николаю II. Никаких заключений о чьей-либо виновности в нем не делалось, а лишь приводились соображения о целесообразности изъятия дела из рассмотрения суда. Соображения эти были крайне просты: неизбежность скандала при гласности суда и невозможность в данном случае устранения его гласности. При этом Муравьев проектировал передачу дела на рассмотрение комитета министров с тем, чтобы окончательное решение по заключению комитета было вынесено самим Николаем II.

Но тут в дело вмешалась императрица-мать. Она опасалась, что в своем рвении обелить великого князя Сергея министры свалят вину на министра двора, Воронцова-Дашкова, который в качестве фаворита Александра III пользовался и ее расположением. Она настояла на том, чтобы дело было передано для составления заключения о виновности графу Палену, бывшему при Александре II министром юстиции и оставившему этот пост в связи с приговором присяжных заседателей по делу В. Засулич. В этом смысле и последовало повеление Николая II. При чем, вопреки утверждению С. Ю. Витте (т. I, стр. 63), не только никакое расследование возложено на него не было, но в поручении было прямо указано, что свое заключение он должен составить на основании данных следствия, произведенного судебным следователем Кейзером.

Пален был независимый и прямой человек. В своем докладе Николаю II он определенно высказал свое мнение о виновности в Ходынской катастрофе Власовского, виновности, по формулировке действовавшего уложения о наказаниях, в «бездействии власти, имевшем важные последствия». В докладе этом он на обер-полицеймейстере не остановился.

С. Ю. Витте в своих воспоминаниях сообщает, что «немедленно после катастрофы граф Пален имел неосторожность сказать во дворце, что вся беда заключается в том, что великим князьям поручаются ответственные должности и что там, где великие князья занимают ответственные должности, всегда происходят или какая-нибудь беда, или крайний беспорядок» (т. I, стр. 63). Но к чести гр. Палена надо сказать, что

то, что Витте приписывает его «неосторожности» и что по понятиям Витте может быть объяснено только ею, гр. Пален считал своим долгом. Он не ограничился разговорами в дворцовых гостиных, а в официальном докладе Николаю II заявил, что вина в Ходынской катастрофе ложится и на великого князя Сергея Александровича, своим индиферентизмом к участи народа посеявшего такой же индиферентизм в своих подчиненных и своей безответственностью поддерживавшего в них уверенность и в их безответственности. Пален настаивал на том, чтобы на его докладе в резолюции о назначении наказания Власовскому Николай II высказал такое порицание великому князю Сергею, которое заставило бы его оставить генерал-губернаторскую должность. Но в резолюции оказалось только исключение Власовского из службы, вместо грозившего ему по суду заключения в исправительные арестантские отделения. О великом князе резолюция умалчивала. Витте в «Воспоминаниях» пишет, что, как ему известно, на докладе Палена «государь написал резолюцию, которая графа Палена опечалила» (т. I, стр. 63); причиной его печали, очевидно, и было это умолчание.

Через несколько дней после этого доклада, во дворце, после парадного обеда великий князь Владимир Александрович в кружке придворных громко порицал Палена. Последний, проходя мимо, услышал и, подойдя, спросил, в чем дело. Великий князь в довольно грубой форме ответил, что Пален советует государю выгнать вон всех великих князей. А когда на замечание Палена, что он только советовал не назначать

их на ответственные посты, великий князь ответил новой грубостью, Пален в подтверждение верности своего мнения напомнил ему, что, когда за год перед тем в Академии художеств, председателем которой состоял великий князь Владимир, была обнаружена растрата более миллиона рублей, собранных пожертвованиями на памятник Александру II, под суд за растрату попал не он, великий князь, а его секретарь. Намек Палена на растрату, виновность в которой молва приписывала великому князю, остался, конечно, без ответа.

В моем рассказе о Ходынской катастрофе и о событиях, с ней связанных, мне думается, остался один пробел: неясным может быть вопрос,—как мог Власовский, как полицейский, умевший создавать впечатление внешнего порядка, как мог он допустить такой промах и для поддержания порядка в полуторамиллионной толпе ограничиться горсточкой городовых и казаков? Как мог он рисковать своим служебным положением? Но в том-то и дело, что никакого промаха, в смысле случайности, не было, и с своей точки зрения Власовский ничем не рисковал. По этому поводу мне припоминается такой эпизод: за несколько дней до начала коронационных торжеств, по окончании одного происходившего под председательством Власовского заседания (мне в этом заседании пришлось участвовать) зашла частная беседа об этих торжествах. Власовский стал перечислять трудные для полиции дни коронационного периода и при этом пропустил народный праздник на Ходынке. Один из присутствовавших обратил его внимание на это. Тогда Власовский спросил, чем же день этот может быть для полиции труден, и

на указание на неизбежность большого скопления народа и возможность давки, ответил: «А мне какое до этого дело? Мне в этот день придется думать только о том, как проезд государя обеспечить, а это не так уж трудно». Поэтому не случайно, а сознательно никаких мер к устранению на Ходынке давки и не было принято Власовским. Поэтому он и считал, что ничем при этом не рискует, так как успех в обеспечении проездов государя должен был, по понятиям Власовского, служить ему гарантией и служебного успеха.

Ходынская катастрофа явилась естественным последствием исконного убеждения русской администрации в том, что она призвана нести заботу не о благе народа, а об охране власти от народа. В непоколебимой твердости этого убеждения Власовский до конца дней своих, говорят, не был в состоянии понять, за что собственно был наказан. Что, пожалуй, и естественно, принимая во внимание полную безнаказанность, в которой был оставлен непосредственный руководитель его служебной деятельностью, великий князь Сергей Александрович.

III.

Конституционные попытки начала 1904—конца 1905 г. г.

Когда после смерти Плеве князю Святополк-Мирскому был предложен пост министра внутренних дел, он заявил Николаю II, что едва ли выбор его может соответствовать господствовавшему в то время напра-

вленію государственной политики, основанному на строгом ограничении общественной самодеятельности и на преследовании всякого проявления свободной мысли. Будучи сторонником единения власти с обществом, с народом, он назвал себя «человеком земским». На что Николай II ему заметил, что ведь и сам он всегда поддерживал «земских начальников». Десять лет царствования оказались недостаточными для того, чтобы он усвоил разницу между земскими начальниками и земством. Из беседы о земских начальниках, земстве и общественности кн. Мирский вынес общее впечатление, что политика всех предыдущих лет царствования начинает тяготить Николая II, и потому сделанное ему предложение принял. Ни о какой программе при этом договорено не было. И я помню, что, когда кн. Мирский о своей беседе с Николаем II мне рассказал, а я его спросил, почему он не выговорил согласие на конкретную программу, которое, мне казалось, следовало бы даже облечь в форму письменную, в форму резолюции Николая II на его, Мирского, докладе,— он мне ответил, что по характеру Николая II это нисколько не обеспечило бы программе ее исполнения. В успех своей идеи Мирский, мне кажется, не верил, относясь с крайним недоверием к Николаю II, и согласился стать министром, вполне сознавая тот личный риск, который брал на себя, но, полагая, что его политические взгляды повредить России не могут, а службу он ей сослужит хотя бы тем, что устранит возможность таких кандидатур, как штюрмеровская, которая уже тогда намечалась. После приказа о своем назначении Мирский, еще оставаясь в Вильне, где он был генерал-

губернатором, вызвав меня туда, подробно посвятил меня в свои планы и выслушал мои сообщения и мнение о положении вещей в России, которое я ему характеризовал как канун, в сущности как уже начало революции, неотвратимой в силу крайней духовной немощи власти. Мирский уже тогда передал мне о своем решении настаивать на реформах общего характера.

Приняв дела министерства, он немедленно приступил к исполнению своего плана. Составлявшие его предположения вошли в особую весьма обширную записку, которую Витте в своих воспоминаниях называет «докладом с приложением указа о различных вольностях», каковые, доклад и указ, по его сведениям, составлял «служащий министерства Крыжановский под руководством кн. А. Оболенского» (т. I, стр. 294). Эти сведения С. Ю. Витте не вполне точны: записка эта представляла труд коллективный,—так, я составлял ту часть ее, которая трактовала о необходимости отмены исключительных законов. Перу Крыжановского, который был также и составителем отдельных частей записки, принадлежит объединение всех отдельных работ, а Оболенский никакого участия в составлении этой записки, в том числе и в руководстве им, не принимал по той простой причине, что никакого отношения к министерству внутренних дел не имел. Руководил работами по составлению записки сам Мирский.

Записка эта доказывала необходимость общего изменения внутренней политики правительства, необходимость мер к укреплению законности и неотложность отмены исключительных законов, установления свободы печати, свободы вероисповедания вообще, а не

только для старообрядцев, как утверждает в своих мемуарах Витте (т. I, стр. 294), равноправия национальностей, уничтожения сословных ограничений, придания большей независимости городским и земским самоуправлениям и необходимость народного представительства в форме введения выборного элемента в Государственный Совет. В записке этой сильны были не ее пожелания, а их мотивировка. Пожелания эти, даже будучи облечены в закон, при той робкой форме, которая рекомендовалась для допущения народного представительства, не могли не остаться только пожеланиями, ибо не от административной же власти, воспитанной в произволе, можно было ожидать деятельного применения и защиты законов об этих «вольностях». Несомненной заслугой записки Мирского было осуждение существовавших тогда порядков, законов, поскольку ими эти порядки обусловливались, и поддерживавшей их практики. Заслуга заключалась не в самой этой критике, которая и по существу, и по силе уступала оценке этих явлений политическими партиями, а в том, что она впервые появилась в министерском докладе царю. Впервые в том самом государственном органе, который по тогдашним условиям творил государственную жизнь, впервые его же представителем было произнесено слово осуждения его деятельности. И после предпринятого Мирским шага существовавшее в общественных кругах признание негодности данного политического строя проникло в бюрократическую среду и быстро претворилось там в сознание близости его конца, чем последний и был ускорен.

В своих «Воспоминаниях» С. Ю. Витте уверяет, что он о составленном Мирским докладе «ничего не знал, никто о нем ничего не говорил, и он нигде не обсуждался. «Мне,—говорит Витте,—его передал кн. Оболенский значительно позже ухода Мирского» (т. I, стр. 294). Как и многое в мемуарах Витте, это неверно. И уже через несколько строк после вышеприведенного сообщения Витте, не замечая противоречия, пишет: «в ноябре 1904 г. государь собрал совещание по вопросу о том, какие следует принять меры по поводу сказанного доклада Мирского» (т. I, стр. 294). Кроме того, во время хода работ по составлению доклада Мирский держал Витте в курсе их, и, когда записка была окончена, Витте немедленно из рук Мирского получил экземпляр ее; между ними еще до совещания, о котором выше упомянуто, происходили беседы по ее содержанию, и при этом Витте обещал Мирскому свою поддержку.

История созванного Николаем II для обсуждения доклада Мирского совещания в передаче Витте так скомкана, полна стольких упущений, и роль самого автора сообщения так искажена, что свидетельство его теряет всякую цену. Мне история совещания известна со слов Мирского. В ней у меня не сохранились в памяти только даты.

Когда Мирский в 20 числах ноября 1904 г. представил свою записку Николаю II, последний со свойственной ему склонностью поражать человечество неожиданностью своих выступлений, которые, по его понятиям, ни к чему его не обязывали, выразил намерение немедленно подписать указ обо всех проектиро-

рованных Мирским «вольностях» и народном представительстве. Но Мирский настоял на том, чтобы предположения его были подвергнуты обсуждению в специально созванной для того комиссии. Такой порядок, ему казалось, давал бы большую устойчивость имеющим быть принятыми решениям. Согласие на это последовало. Председательствование в комиссии Николай II взял на себя, а список членов был тут же составлен. Витте в мемуарах своих по поводу этого списка пишет: «мне передавали, что государь не хотел меня приглашать, но его уговорил Мирский» (т. I, стр. 294). Я лично об этом от Мирского не слыхал, хотя он рассказывал мне все подробности беседы его по настоящему поводу с Николаем II и показывал мне писанный им синим карандашом список членов комиссии, в которой он во время этой беседы заносил их имена по мере того, как они назывались им или Николаем II. При этом произошел такой характерный для Николая II эпизод: когда список был составлен, Мирский, уже выходя из кабинета государя, вспомнил, что в списке пропущен Победоносцев; вернувшись, он сказал об этом, но в ответ получил неожиданное заявление, что пропуск не случаен, что Победоносцев слишком стар, чтобы быть в таких случаях полезным; при чем о возможных рассуждениях Победеносцева Николай II выразился как о «старческой болтовне». Но, как потом выяснилось, едва Мирский успел выйти из кабинета государя, как тот отправил Победоносцеву собственноручное письмо, в котором, сообщая о докладе Мирского и о назначенном для обсуждения его совещании, обращаясь к многолетней государствен-

ной опытности Победоносцева, просил его приехать на совещание, дабы, как было сказано в письме, помочь разобраться «в нашем хаосе».

Членами комиссии были назначены Витте, тогда председатель комитета министров, министры Коковцев, Муравьев, Ермолов, Хилков, Ламздорф, председатели департаментов государственного совета, Сольский и Фриш, управляющий канцелярией прошений, приносившихся на имя государя, барон Будберг, управляющий канцелярией о чинах гражданских и о наградах, Танеев, состоявшие лично при Николае II генерал-адъютанты гр. Воронцов-Дашков и Рихтер, приглашенный в особом порядке Победоносцев и, конечно, Мирский.

Из рассказа С. Ю. Витте о заседании этой комиссии можно вынести впечатление, что решение ее состоялось без особой борьбы и без интриг, можно даже подумать, что комиссия имела только одно заседание (т. I, стр. 297). Роль самого Витте в данном случае была такова, что подробно описывать ход занятий комиссии в его расчеты и не могло входить. Его рассказ сводится к тому, что центром в заседании совещания был он, а не Мирский, обсуждались мнения его, а не Мирского; одни поддерживали его, другие на него нападали, а Мирский со своей запиской был не только отодвинут на задний план, а просто забыт. Верен этот рассказ только в том смысле, что таков был план самого Витте;—все усилия его были направлены на то, чтобы Мирский как автор проекта был забыт, а к проекту, так сказать, пристало бы его, С. Ю. Витте, имя. И надо отдать справедливость, ему в конечном

результате это удалось: в представлении многих он стал не только составителем, но и инициатором указа 12 декабря 1904 г., который был предрешен упомянутой комиссией и который повторил только законодательные меры, предусмотренные в записке Мирского, не прибавив к ним ни одной новой.

Витте о заседании комиссии говорит так: «мне пришлось говорить первому; я высказал свое решительное мнение, что вести прежнюю политику реакции совершенно невозможно, что это приведет нас к гибели. Меня поддержали: гр. Сольский, Фриш, Ермолов, Муравьев, Коковцев», «Победоносцев относился к нашим заявлениям критически, не высказываясь безусловно против». «Наибольший разговор возбудил вопрос о привлечении выборных к участию в законодательстве». По словам С. Ю. Витте, он по этому вопросу молчал, но по просьбе государя высказался, и высказался в положительном смысле, но при этом счел необходимым предупредить, что, если проект Мирского о народном представительстве будет принят,—России не избежать конституционного образа правления (т. I, стр. 297). Благодаря этому предупреждению вышеупомянутый план Витте и увенчался успехом.

В действительности обсуждавшая проект Мирского комиссия имела не одно, а два заседания. В первом, сосредоточенном на народном представительстве, сразу ставшем гвоздем вопроса, за него определенно высказались Сольский, Коковцев, Ермолов, Муравьев и Хилков; из других членов одни без особых речей присоединились к проекту, другие же согласились с ним своим молчанием. Витте, вопреки тому, что он сообща-

ет в своих «Воспоминаниях», был весьма неопределенен, неопределенен настолько, что Мирский без колебаний принял его поведение за уклонение от данного Мирскому обещания поддержки. Также, вопреки свидетельству Витте, Победоносцев вполне для него последовательно, самым определенным образом высказался против народного представительства. В виду того, что о таковом вопрос был затронут только принципиально, а предположения записки Мирского о «вольностях» и вовсе не обсуждались, было назначено через несколько дней второе заседание комиссии. Первое же заседание оставило в участниках впечатление успеха проекта Мирского, успеха несколько бледного, но все-таки такого, который, казалось, обеспечивал идее народного представительства формальное признание.

Когда через несколько дней члены комиссии собрались в Царскосельском дворце на второе заседание (оно состоялось между 4-м и 7-м декабря), они неожиданно увидали, что состав их пополнен: для участия в этом заседании прибыли великие князья Владимир, Алексей, Сергей, для того приехавший из Москвы, Александр Михайлович и Михаил Александрович. Было очевидно, что они были приглашены вследствие сказавшейся в первом заседании недостаточности, для провала проекта Мирского, сил одного Победоносцева. Но по открытии совещания великий князь Владимир, вопреки ожиданиям, заявил себя решительным сторонником проекта, главное достоинство которого он видел в том, что предлагаемый им порядок не только обеспечивает осведомленность законодательной власти о нуждах страны, но и снимает значительную долю

ответственности с главы государства. Зато великий князь Сергей обрушился на проект Мирского как на меру опасную, как на акт измены. Он сказал только несколько слов, но таких, которые в известной среде действуют сильнее блестящих речей. Он выдвинул самый страшный для чиновнической среды жупел—подозрение в измене престолу. Эффект сказался тотчас же. Муравьев, довольно горячо в предшествовавшем заседании поддерживавший Мирского, поспешил заявить, что произошло это оттого, что тогда он был не подготовлен к вопросу, а теперь, обдумав его на досуге, считает участие общественного элемента в законодательной работе в какой бы то ни было форме мерой опасной. Чем больше он почувствовал необходимость отречься от солидарности с «изменнической» попыткой Мирского, тем горячее выступил он против нее, красноречиво—а он мог быть красноречив—доказывая то, что люди его сорта в таких случаях доказывают,—наличность в обсуждавшемся плане угрозы самодержавию. Несколько попыток Сольского, Хилкова, Коковцева поставить вопрос на соответствующее ему место оказались бесплодны. Дело было перенесено на такую почву, на которой объективное обсуждение в тех условиях, в которых оно происходило, было невозможно. Все свелось только к тому: кто на этом выиграет? Выиграл С. Ю. Витте. Хоть он и старается в своих воспоминаниях уверить, что он высказался за необходимость практического осуществления идеи участия общества в законодательной деятельности, но всякому—и самому Витте, конечно, первому—понятно, что говорить это он может только в расчете на чу-

жую наивность, ибо, если он затем сознается, что предупреждал о неизбежности для России конституции как последствия введения выборных в состав Государственного Совета, то ведь, в сущности, он сознается в умышленном подготовлении им этой идее провала перед той аудиторией, перед которой он выступал. Но он вместе с тем понял, что, провалив проект Мирского о народном представительстве, надо взамен дать что-нибудь положительное. А так как сам он по совершенной неподготовленности своей к вопросам государственного строительства ничего в этой области придумать не мог, то он и воспользовался всем, что содержала в себе вторая часть записки Мирского, трактовавшая о «вольностях», и преподнес их в качестве им, С. Ю. Витте, найденных лекарств против государственных недугов. При чем Мирский выдвигал их во имя народного блага, как он его понимал, а Витте, соответственно духовному калибру своему и своего высокого слушателя, просто, так сказать, отложил их на счетах, как подачки, необходимые для спасения того, что, по их понятиям, только и было достойно забот и охраны,—самодержавия. В результате Мирский оказался опасным потрясателем основ, а Витте спасителем престола. Ему и было в качестве конечного вывода занятий комиссии поручено составить проект указа о «вольностях».

Кн. Мирский, удрученный неудачей его доклада, двуличным поведением Николая II, Муравьева и Витте, подал, не медля, прошение об освобождении его от поста министра внутренних дел. Он ушел с этого поста только в связи с участью основной из намечен-

ных им реформ и заявил об этом, как только судьба ее определилась. В виду этого совершенно неверно утверждение Витте в его мемуарах, что Мирский решил покинуть министерский пост только с назначением Трепова петербургским генерал-губернатором (т. I, стр. 310).

С прошением об отставке Мирский, однако, до своего увольнения от должности, которое последовало только 18-го января 1905 г., не отказался от попытки добиться пересмотра решения о народном представительстве. Когда тотчас после закрытия второго и последнего заседания комиссии по этому вопросу он заговорил об этом со мною, я указал ему на то, что как бы ни была велика во всем только-что происшедшем роль личных свойств Николая II, его привычки к своевластию, его лукавого «византийства», нельзя этим свойствам придавать значение исключительное, нельзя не признать, что в известной мере его отрицательное отношение к идее народного представительства обусловливается отсутствием сознания ее практического смысла, как средства спасения России, и отсутствием сознания, что Россия действительно находится накануне сильнейших потрясений. До появления Мирского у власти Николаю II было известно только, что вся Россия охвачена недовольством. Для человека, не страдавшего полным индифферентизмом ко всему, что его личную жизнь не затрогивало непосредственно, и мало-мальски политически развитого этого было бы достаточно для того, чтобы додуматься до необходимости обновления государственных форм. Но для Николая II этого было мало, для него нужно

было впечатление государственной опасности. Картину этой опасности, простую, может быть, даже грубую, доступную уровню его развития, и надо было, по моему мнению, ему показать, дабы он над нею одумался перед тем, как будет уже поздно. Во всяком случае, такая мера мне представлялась необходимой для устранения всяких, откуда бы они ни исходили, ссылок на то, что он был обманут, что от него все скрывали. В сущности, ничего от него не скрывали, и знал он достаточно, чтобы при желании быть полезным стране, но никто не бывает обманутым так, как тот, кто желает быть обманутым. И с этим желанием надо было, я думаю, покончить. Я и советовал Мирскому представить Николаю II доклад об общем положении государства. Мирский ответил мне, что отношение к нему государя таково, что все, что будет носить его имя, только повредит делу, и подписанный им новый доклад, как бы он ни был убедителен, похоронит окончательно самую благую мысль. Тогда я предложил Мирскому такой план: я представлю ему, Мирскому, от моего имени доклад о политическом состоянии страны, а он представит его государю без добавлений от себя, как отзыв, исходящий от должностного лица, по своему положению наиболее осведомленного. На этом плане Мирский и остановился и 8-го декабря представил Николаю II мою записку, в которой, кроме общей сводки всех событий, характеризовавших революционное настроение страны, устанавливалась естественность этого настроения, как логического последствия того произвола в отношении прав населения и того бездействия в отношении его

насущных интересов, в которых власть находила свои единственные проявления. К сожалению, я не могу привести здесь текст этой записки, потому, что хотя она в числе некоторых документов у меня и сохранилась, но не находится пока у меня под рукой. Неизбежность революции, необходимость ее признания и предупреждения путем законодательных реформ настолько по этой записке были очевидны, что А. С. Ермолов, тогдашний министр земледелия, бравший у меня ее в свое время для прочтения, много лет спустя, по времени ближе ко второй, чем к первой, Русской революции, вспоминая при встрече со мной про эту записку, говорил, как все, что по ней можно было ожидать, сбылось и как много жертв можно было-бы избегнуть, добросовестно осуществив все, что было обещано 17 октября 1905 г., годом раньше, когда записка моя была составлена.

Николая II моя записка оставила к судьбам страны, повидимому, вполне равнодушным. Он ограничился тем, что на полях ее провел синим карандашом короткую черту между двумя точками,—привычный ему знак, что бумага им прочитана. Единственным последствием моей записки было то, что при дворе и в известных кругах петербургской бюрократии я был произведен в революционеры, во всяком случае, в человека в смысле карьеры отпетого.

С. Ю. Витте в воспоминаниях своих рассказывает, что, когда по составлении им проекта указа о «вольностях» он 11 декабря 1904 г. был у Николая II, у которого при этом застал великаго князя Сергея, речь у них зашла между прочим о земских соборах; при

чем он «высказал убеждение, что земские соборы это есть самая почтенная старина, которая при нынешнем положении неприменима» (т. I, стр. 360). Это было 11 декабря, а в первых числах следующего января я, зайдя однажды к кн. Мирскому, застал его с Витте в споре о земском соборе. Мирскому нездоровилось и не хотелось спорить, почему он и попросил меня заменить его в этом.

Витте настаивал на необходимости созыва земского собора, который он менее месяца перед тем называл «этой самой почтенной стариной», для решения только одного вопроса,—продолжать-ли или прекратить войну с Японией? при чем представительство в соборе должно было быть, по словам Витте, обеспечено всему населению, и собор должен был иметь голос только совещательный. Я же стал доказывать, что честнее просто созвать учредительное собрание, так как при всякой программе, а в особенности выдвигаемой Витте, земский собор в руках существовавшей в то время власти не может не обратиться в грандиозную провокацию, ибо в наиблагонамереннейшем составе земский собор, добросовестно действуя, обязан для решения вопроса о войне и мире потребовать осведомления его о причинах, целях, средствах и способах ведения войны и, узнав истину или увидав себя обманутым, если истину попытаются от него скрыть, обязан будет отбросить свою совещательную роль и обратиться в судью, а затем принять учредительные функции. Такой исход, предполагая у народных представителей наличность элементарной добросовестности, я считал неизбежным. Столь же неизбежным последствием превращения «са-

мой почтенной старины» в учредительное собрание мне представлялся, ввиду тогдашнего настроения царя и влиятельных кругов, разгон собрания силою оружия. С. Ю. Витте тотчас же нашел против этого средство: надо, он сказал, удержать земский собор в рамках поставленной ему задачи, а для этого надо, чтобы председатель собора был назначен государем. Он не досказал, что председателем должен быть он сам, С. Ю. Витте, но было ясно, что вся затея с земским собором клонилась к этому. Я ему возразил, что назначение земскому собору председателя уже было бы провокаторством, на чем беседа наша и кончилась.

В работах по исполнению указа 12 декабря 1904 г. о «вольностях», согласно которому составление проектов соответствующих законов было поручено комитету министров, мне принимать участия не пришлось. По переданной мне бароном Нольде, в то время управлявшим делами комитета министров, просьбе его председателя, т.-е. Витте, я составил для комитета записку о практическом значении действовавших тогда исключительных законов. Содержа довольно резкую критику этих законов, она в то время ходила по рукам и появилась в русской революционной прессе за границей. Витте же в одном из заседаний комитета министров восклицал, потрясая этой запиской, что близость революции неудивительна, когда во главе департамента полиции стоит лицо, позволяющее себе такую критику законов. Я тогда уже был произведен в революционеры.

В характеристике своего личного отношения к указу 12 декабря 1904 г. Витте в своих «Воспоминаниях» впадает в существенные противоречия. На одной странице

их он высказывает мысль, что «если бы только указ 12 декабря получил быстрое, полное, а главным образом, искреннее осуществление», «он значительно бы способствовал к успокоению революционного настроения, разлитого во всех слоях общества» (т. I, стр. 302). А через несколько страниц работы по исполнению этого указа он называет «мало полезными». «Не успели,— говорит Витте,—покончить мало полезные работы по указу 12 декабря, как опять состоялся совет по вопросу о привлечении выборных к законодательству». «Я,—добавляет Витте,—присутствовал на этом заседании, но молчал» (т. I, стр. 338). Заседание, им здесь упоминаемое, состоялось 17 февраля 1905 г., под председательством Николая II, при участии всех министров и С. Ю. Витте, и имело своей задачей изыскание мер к успокоению умов. Результатом его было подписание Николаем II рескрипта на имя министра внутренних дел Булыгина о разработке проекта закона о народном представительстве. По обыкновению своему, об этом совещании, точнее, о роли своей в этом совещании, Витте дает сведения, далеко не соответствующие истине.

Мне об этом совещании подробно рассказывали бывший министр земледелия, А. С. Ермолов, его участник, и П. Н. Дурново, сам в совещании участия не принимавший, но получивший детальные сведения о нем от одного из участников. Верно сообщение Витте, что в качестве меры, долженствовавшей успокоить революционно настроенное русское общество, все министры единодушно рекомендовали Николаю II изменение государственного строя, с предоставлением народу участия

в законодательной деятельности государства и притом на началах несколько более широких, чем проектированные ранее кн. Мирским. Единственный, кто против этого возражал, был Витте. Он не только не молчал, а весьма горячо нападал на мысль о введении в России народного представительства в какой то бы то ни было форме, повторяя при этом избитые фразы о непригодности для России конституционных форм, о самобытности и исторической миссии самодержавия. Выступление его и отпор, им от его коллег полученный, были таковы, что один из участников совещания, рассказывая об этом П. Н. Дурново, сказал, что «С. Ю. Витте вышел из совещания оплеванным».

Для многих, наблюдавших эти конституционные попытки конца 1904 г. и начала 1905 г., и для тех, кто знакомится с ними теперь по различным сказаниям, непонятным представляется, как в течение короткого срока в 2 месяца такой человек, как Николай II, мог дойти от отрицания до признания идеи народного представительства. Что заставило его, хотя бы скрепя сердце, помириться с нею? Близко стоя к событиям того времени, присматриваясь к участию в них разных государственных деятелей, а в их числе и Николая II, я вынес впечатление, что единственным фактором, совершившим в нем вышеупомянутый переворот, был страх. Но ошибаются те, кто думают, что испугало его событие 9-го января 1905 г., поход к нему рабочих с петицией, под предводительством Гапона. Жестокая решительность военных начальников и покорность войск, проявленные в этот день, вполне укрепили в нем уверенность в безопасности и его лично,

и его престола. Ответом на событие 9-го января 1905 г. и было не какая-либо уступка общественным требованиям, а учреждение должности петербургского генерал-губернатора и назначение на эту должность генерала Трепова. Тот страх, который привел Николая II к подписанию рескрипта на имя Булыгина о народном представительстве, был внушен ему совершившимся за две недели перед тем убийством великого князя Сергея Александровича. Оно знаменовало для Николая II близость опасности для него лично, оно и толкнуло его на попытку эту опасность предотвратить.

IV.

Мое знакомство с С. Ю. Витте.

Личное мое знакомство с С. Ю. Витте произошло в 1901 г. Но, прибегая к его же выражению по поводу одного из его сослуживцев, я могу сказать, что «открылся» он мне раньше. Летом 1899 г., когда я был прокурором московского окружного суда, в Москве возникло громкое уголовное «Мамонтовское» дело. История его возникновения весьма для С. Ю. Витте характерна.

Савва Иванович Мамонтов, видный делец и известный меценат, был крупным акционером и председателем правления общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Дела ее с постройкой бездоходной в то время ветви от Вологды до Архангельска пошатнулись до пределов катастрофических. В столь же печальном положении оказались и дела

патронировавшегося обществом Московско-Ярославско-Архангельской дороги акционерного общества Невских судостроительного и вагоноделательного заводов. Для поддержания того и другого предприятия заправилы их с Мамонтовым во главе прибегли к способам, законом запрещенным. Путем разных комбинаций, в которых главную роль играли фиктивные сделки, фиктивные счета и такие же записи в книгах, они умудрялись перебрасывать деньги из кассы дороги в кассу заводов и обратно и создавать на бумаге декорум их кредитоспособности. Эти приемы запутали дело еще больше, крах казался неминуемым, когда для спасения от него средство было найдено. С. И. Мамонтову удалось добиться для общества Московско-Ярославской дороги концессии на сооружение так называемой Северной железно-дорожной линии Петербург—Вологда—Вятка, высокая доходность коей представлялась вне сомнений и должна была компенсировать недоборы общества от Архангельской ветви до времени более интенсивной работы последней. Вышеупомянутая концессия была дана в законодательном порядке, высочайше утвержденным мнением Государственного Совета. Этот законодательный акт состоялся при полной осведомленности министерств финансов и путей сообщения о переживавшихся концессионером, железнодорожным обществом, финансовых затруднениях и тех способах, которыми правление его пыталось из них выйти. Мало того: к акту этому министерства относились именно как к средству спасти общество от финансового краха, объем которого, как ни трудно было последний предугадать, представлялся весьма грозным.

С концессией все предвещало обществу Московско-Ярославской дороги блестящее будущее. Как вдруг над предприятием этим разразилась гроза, разметавшая в прах все надежды и нагрянувшая неожиданно оттуда, откуда обществу были только-что оказаны поддержка и спасение. То самое министерство финансов, которое в лице его главы, С. Ю. Витте, только-что выступало в качестве инициатора в вопросе о предоставлении названному обществу выгодной концессии, выступило в лице того же С. Ю. Витте с требованием об отобрании у него этой самой концессии и о принятии мер, которые были сознательно направлены к финансовой гибели и железнодорожного общества, и крупных его акционеров. По инициативе С. Ю. Витте в комитет министров было внесено дело о том, чтобы законодательный акт о предоставлении обществу Московско-Ярославской дороги концессии на Петербурго-Вятскую ветвь был отменен и ветвь эта строилась бы на средства казны. Никаких новых данных, которые были бы в состоянии обусловить такой неожиданный поворот дела, в распоряжении министерств не было и быть не могло. Никто, конечно, в Государственном Совете не согласился бы понять, почему одна и та же мера на расстоянии нескольких месяцев представлялась и возможной, и невозможной, и потому правительство и не посмело внести свое представление в Государственный Совет, а направило его в Комитет министров, куда, по авторитетному свидетельству его бывшего председателя, все того же С. Ю. Витте, министры имели обыкновение направлять все те свои предположения, которые противоречили закону и справедли-

вости (т. I, стр. 218, 233). В Комитете министров представление министерства было, конечно, принято, и на положение о том Комитета министров последовало утверждение Николая II. С точки зрения правовой создалось нечто совершенно уродливое и даже для беззастенчивости министерских приемов времен Николая II не вполне обычное: законодательный акт оказался отмененным постановлением, изданным в порядке управления. По существу же суровые меры этим не ограничились и, все по инициативе С. Ю. Витте, против Мамонтова и его коллег было возбуждено уголовное преследование за те самые противозаконные финансовые комбинации, о которых министерство финансов не только прекрасно знало, но которые оно покрыло ходатайством перед Государственным Советом о передаче выгодной концессии в руки тех самых людей, которых оно затем решило посадить на скамью подсудимых.

Все это на первый взгляд представлялось совершенно непонятным. Наличность злоупотреблений со стороны Мамонтова и его сотрудников была вне сомнений. Но вместе с тем, сравнительно с распространенным типом дельцов, которые безо всяких церемоний перекладывали в свои карманы деньги из касс руководимых ими предприятий и оставались безнаказанными, они представлялись людьми гораздо более зарвавшимися в предпринимательстве, чем нечестными. Защищать нравственность их поступков, конечно, было невозможно, но и выбор министерством финансов именно их в качестве дани правосудию казался непонятным. Ясны были незаконность одних мер, избыток жестокости в других,

что вместе с отсутствием справедливых мотивов заставляло подозревать за всем этим наличность какой-то крупной интриги. Она вскоре и вскрылась.

Предоставление о-ву Московско-Ярославской железной дороги концессии на Петербурго-Вятскую линию значительно подняло на бирже акции этого общества. Большинство их, принадлежавшее С. И. Мамонтову и его родне, было заложено в Петербургском Международном Коммерческом банке в обеспечение ссуды, взятой Мамонтовым для покрытия подписной цены дополнительного выпуска этих акций, вызванного полученной концессией. Последовавшие затем отобрание от общества концессии и уголовное преследование состава его правления создали на бирже в отношении этих бумаг панику и катастрофическое падение их цены. Банк потребовал от Мамонтовых внесения разницы цены бумаг или дополнительного обеспечения долга. А так как и то, и другое было Мамонтовым не по силам, находившиеся в руках банка акции их подверглись принудительной продаже и по низкой цене достались банку. Но и банк от этого не выиграл. По новому проведенному С. Ю. Витте акту права Московско-Ярославско-Архангельского общества на принадлежавшую ему железную дорогу от Москвы до Архангельска со всем ее имуществом, в явное нарушение всегда отстаивавшегося русским правительством принципа неприкосновенности частной собственности, были аннулированы, и все акции его были принудительно отчуждены в казну по убыточной для акционеров цене. Мамонтовы были разорены. Присяжными заседателями они по возбужденному против них уголовному делу

были оправданы. К репутации же С. Ю. Витте история так называемого Мамонтовского дела, в глазах всех, кто знал его закулисную сторону, прибавила лишнее темное пятно обвинения в беззастенчивом выборе средств и в произволе.

При производстве следствия по Мамонтовскому делу, при осмотре следователем документов, отобранных у одного из обвиняемых, заведывавшего коммерческим агентством правления Московско-Ярославской железной дороги, в записной его книжке была обнаружена запись, свидетельствовавшая о взятке, данной директору железнодорожного департамента министерства финансов, по всем данным, за содействие в предоставлении Московско-Ярославской железной дороге той концессии, которая у нее была впоследствии отобрана, что и было подтверждено показанием хозяина книжки. Весь обвинительный материал был сообщен министру финансов, С. Ю. Витте, так как по действовавшему закону уголовное преследование против должностного лица могло быть возбуждено только его начальством. Начальство же, в лице С. Ю. Витте, дело против своего подчиненного в данном случае замяло, дало ему возможность по своей воле уйти в отставку и устроиться на теплое место в частном предприятии.

Вот каким С. Ю. Витте «открылся» мне еще ранее моего личного знакомства с ним. Оно состоялось в 1901 г., когда я уже был в Петербурге прокурором окружного суда. Затем, в 1902 г., когда я был назначен директором департамента полиции, он пожелал возобновить знакомство со мной, через одного моего родственника пригласил к себе, и я несколько раз бывал

у него, но очень скоро на приглашения стал отвечать отказом, и наши встречи прекратились. Мне стало известно, что он был этим обижен и стал подозревать меня в том, что я собираю сведения об его политической неблагонадежности, чем, как видно из предъидущего моего рассказа, был занят Плеве и в чем я был совершенно неповинен. Не производя никакого расследования об его политических взглядах, я однажды был вынужден поручить розыск одной ходившей в Петербурге по рукам и приписывавшейся его перу брошюры. Витте в своих «Воспоминаниях» рассказывает, что это происходило во время министерства Мирского, было предпринято мною помимо Мирского, по высочайшему повелению, переданному мне генералом Гессе, и будто Мирский высказал мне за это свое «неудовольствие». Брошюра же, подвергшаяся розыску, по удостоверению Витте, представляла из себя документальное изложение «обстоятельств по политике на Дальнем Востоке до 1901 г.», была «самого невинного содержания», несмотря на что, однако, все ее экземпляры были по его, Витте, распоряжению сожжены, дабы не повредить лицам, ответственным за возникновение войны с Японией (т. I, стр. 291). А так как ответственным за эту войну Витте не без основания считал Николая II и Плеве, и так как не забота же об интересах последнего могла побудить Витте уничтожить свою брошюру,—нетрудно догадаться, на кого она была направлена и почему ее пришлось истребить.

В рассказе по поводу ее розыска, по свойственному С. Ю. Витте обыкновению, много неточного. Розыск брошюры производился не во время министерства Мир-

ского, а раньше его назначения министром внутренних дел. Когда это назначение состоялось, Витте сетовал Мирскому, как последний мне передавал, на Николая II, назначившего поиски, и Мирский расспрашивал меня о подробностях этого дела, никакого упрека мне не высказывая, так как и повода к нему не было. А дело было так: в июле 1904 г., дня через два после смерти Плеве, ко мне приехал адмирал Абаза, управлявший в то время канцелярией комитета по делам Дальнего Востока, и показал мне письмо на его имя Николая II, в котором ему поручалось передать мне, чтобы я распорядился розыском появившейся в Петербурге брошюры, содержавшей резкое порицание личного отношения Николая II к делам Дальнего Востока. На словах же Абаза объяснил мне, что брошюра эта приписывается перу С. Ю. Витте и по содержанию совпадает с напечатанной незадолго перед тем, в одном из лондонских повременных изданий, если память мне не изменяет, в «Quarterly Review», статьей анонимного автора, под названием «The Tzar», содержавшей личные в высшей степени резкие нападки на Николая II. Предпринятое расследование установило, что брошюра о дальне-восточных делах печаталась в типографии министерства финансов по распоряжению С. Ю. Витте и затем по его же распоряжению были уничтожены и все готовые оттиски, и рукопись, а те немногие лица, которые с нею познакомились, получили от С. Ю. Витте оставшийся у него экземпляр. Ввиду чего сопоставить содержание этой брошюры со статьей в английском журнале не представилось возможным.

Несколько вышеупомянутых мною встреч моих с С. Ю. Витте не заслуживали бы упоминания, если бы не оставили во мне впечатление одной поразившей меня в Витте чертой. Попав в Петербург впервые в 1900 г., после жизни и нескольких лет службы в провинции и в Москве, пробыв в Петербурге только два года и притом на должности прокурора, с которой сильных мира сего не видишь, я был полон провинциальных взглядов на министров, как на людей, которые могут быть хороши или плохи как министры, но не могут быть невеждами и уж, конечно, обладают знаниями выше, например, губернаторского,—весьма невысокого уровня знаний. Такие понятия были возможны только до знакомства с С. Ю. Витте. Мне в моей жизни и деятельности пришлось видеть много людей самых разнообразных калибров, но я никогда не встречал человека, в котором степень образования, даже сумма практических сведений так не соответствовали его положению, как в С. Ю. Витте. Он кончил курс в университете на математическом факультете, но трудно думать, чтобы после того он когда-либо что-либо читал. Говорят, что, попав в опалу, он от нечего делать стал заниматься чтением. Но я, например, лично от него слышал в 1902 году, что он только в это время впервые прочел книгу, излагавшую историю крепостного права в России; при чем этой книгой не было специальное исследование, а был курс русской истории Ключевского. Мы же, наивные провинциалы, воображали, что в России нельзя быть министром без знания истории того класса, на котором вся она держится. Мне лично пришлось однажды слышать рассказ Витте

о том, что, когда ему оказывалось нужным изучить какой-нибудь вопрос, он приглашал к себе ученого по соответствующей отрасли знания и из беседы с ним узнавал все, что ему было нужно. Это он называл «изучением вопроса». Так, повидимому, он изучал и политическую экономию, когда, как повествует он в своих «Воспоминаниях», пошел беседовать с профессором Посниковым и вынес из этой беседы, что рассуждения науки о цене и ценности—не заслуживающие внимания пустяки. Он обладал умом столь крупным и гибким, что дойствительно мог быстро из таких бесед с учеными схватывать, что ему было нужно и даже подвергать усвоенное дальнейшему развитию. Но, очевидно, что эти упражнения образованного человека из него не делали. Поэтому, беседуя с ним, вы поражались в нем, так сказать, среднеобывательским уровнем его развития и наивностью многих его взглядов. По этому-то, читая его «Воспоминания», вы видите, что у автора их нет даже присущего образованному человеку запаса слов и понятий. По этому-то вы в этих воспоминаниях встречаете такие поразительные рассуждения, как например: «Что такое бюрократия? Не что иное, как неограниченное правление, как неограниченный император, не ограниченный выборными общественными элементами» (т. II, стр. 290).

После первых моих встреч с С. Ю. Витте я не видал его около года. Наше следующее свидание состоялось в сентябре 1903 года в Париже. О нем упоминает и С. Ю. Витте в своих «Воспоминаниях», говоря: «в Париже был у меня Лопухин. Повидимому, он хотел узнать у меня, как случилось увольнение

Зубатова и не передал ли я Плеве, что Зубатов был у меня, и то, что он мне рассказывал» (т. I, стр. 257). Действительно, при этой нашей встрече темой разговора были и увольнение Зубатова, и сношения с ним Витте. Последним, кроме того, была затронута и иная очень интересная тема. О сношениях своих с Зубатовым и об увольнении последнего со службы имеются сведения и в мемуарах Витте; но в сведениях этих истина значительно искажена.

С. Ю. Витте рассказывает об этом так: «Зубатов, зная, что я против его рабочих организаций, никогда ко мне не являлся, и я его никогда не видел. Вдруг в начале июля 1903 года, месяца за полтора до моего ухода с поста министра финансов, мне докладывают, что меня желает видеть Зубатов. Я его принял. Он мне начал подробно рассказывать о состоянии России по его секретным сведениям охранных отделений, говорил, что «вся Россия бурлит», что «удержать революцию полицейскими мерами невозможно», что «политика Плеве заключается в том, чтобы вгонять болезнь внутрь и что это ни к чему не приведет, кроме самого дурного исхода». На это Витте, по его свидетельству, ответил, что должен был бы о визите Зубатова и его речах сообщить Плеве, но, жалея Зубатова, этого не сделает, а будет считать их свидание как бы не бывшим. Затем Витте стало известно, что Зубатов о своем свидании с ним сообщил князю Мещерскому, издателю-редактору «Гражданина», который предал Зубатова Плеве; в результате чего и состоялись арест, увольнение со службы и ссылка Зубатова во Владимир. (т. I, стр. 196, 257).

Таков рассказ С. Ю. Витте. А вот что было в действительности: с первых же дней назначения Плеве министром внутренних дел началась его борьба с Витте. С этим назначением кн. Мещерский, состоявший с Витте в хороших отношениях, несколько поохладел к нему, сблизившись с Плеве; но после первого года министерства Плеве, с весны 1903 года, отношения эти стали меняться,—появилось охлаждение между Плеве и Мещерским, а прежняя близость между последним и Витте восстановилась. Мещерский вскоре стал открыто осуждать политику Плеве; информировал же его по части этой политики Зубатов, часто его посещавший и своими информациями дававший ему сильное оружие против Плеве, против которого у Зубатова накопилось много обид и за двойственность Плеве в отношении к его рабочим организациям, и за личное к нему, Зубатову, высокомерное отношение. Мало-по-малу дом Мещерского обратился как-бы в конспиративную квартиру заговора против министерства Плеве. Посещая ее, Зубатов и Витте в ней, однако, первоначально не встречались. Знакомство между ними произошло вовсе не неожиданно для Витте, как он уверяет, а при посредничестве того же Мещерского. Мещерский посоветовал Витте познакомиться с Зубатовым, и прием последнему у Витте был назначен через Мещерского. Я был все время в курсе всех этих закулисных маневров. Об них знал и Плеве. На этом в августе 1903 г. я уехал в отпуск за границу.

В сентябре, в Париже, до меня дошли два сенсационные известия. Первое сообщало об отставке Витте, точнее, о назначении его председателем Комитета ми-

нистров, создавшем ему положение, которое он в своих «Воспоминаниях» дважды называет «бездеятельным» (т. I, стр. 218, 233), и равнявшемся отставке своей безвластностью. Изо второго я узнал об аресте и ссылке Зубатова. Осведомившись, что в Париже находится министр юстиции Муравьев, я отправился к нему, чтобы узнать о причинах этих двух событий, Муравьев сказал мне, что, хотя они произошли еще в бытность его в Петербурге, но столь же необъяснимы для него, как и для меня. «Несомненна,—он мне сказал,—только какая-то загадочная связь между этими двумя событиями». При этом он добавил, что Витте тоже находится в Париже и, может быть, от него можно получить объяснения происшедшему. Я пошел к Витте и застал его в таком состоянии обиды, раздражения, даже злобы за полученное им «почетное» назначение, что он даже не пытался их скрывать. Он сразу излил все чувства, выставляя объектом их Плеве, как виновника направленной на него немилости царя. Поводом к ней он указывал, как и в «Воспоминаниях» своих (т. I, стр. 233), свою оппозицию дальне-восточной политике Николая II. Затем он перешел к истории падения Зубатова, объясняя ее исключительно недовольством со стороны Плеве визитом Зубатова к нему, Витте, и в той же версии, как и в своих мемуарах, передал мне подробности своего свидания с Зубатовым, подчеркивая так же, как он это делает и в мемуарах, свою корректность при этом свидании по отношению к Плеве. От упоминания об осуждении Зубатовым политики Плеве Витте перешел к критике этой политики; при чем в рассуждения о Плеве стали вплетаться указания на Николая II,

своим лживым и тиранническим характером делавшего невозможным всякую иную политику. А затем речь Витте, облеченная в форму двусмысленных намеков, приняла такой смысл: у директора департамента полиции, ведь, в сущности находится в руках жизнь и смерть всякого, в том числе и царя,—так нельзя-ли дать какой-нибудь террористической организации возможность покончить с ним; престол достанется его брату (тогда еще сына у Николая II не было), у которого я, С. Ю. Витте, пользуюсь фавором и перед которым могу оказать протекцию и тебе.

Вся жизнь Витте, как рассказывали его ближайшие сослуживцы, протекала от доклада до доклада у Николая II; каждая неделя после приема милостивого была наполнена для него счастьем, так же, как холодный прием повергал его на неделю в мрачное состояние. Только один ум отличал его самого от Николая II,—в отношении морали они были недалеки друг от друга. И потому речь С. Ю. Витте могла вызвать только отвращение. Я ушел от него, и на этот раз на целые три года.

При возвращении моем из-за границы в Петербург «загадочная связь» между судьбами Витте и Зубатова разъяснилась; от моих сослуживцев, и, главным образом, от Плеве, я узнал следующее. Заговор против него на квартире Мещерского созрел настолько, что тремя конспираторами, уже начавшими собираться вместе для общих совещаний, было окончательно решено свергнуть его и на его место водворить самого С. Ю. Витте. Хотя в своих «Воспоминаниях» Витте и говорит, что пытаясь рассеять подозрения Плеве, будто он хочет

сесть на его место, он старался объяснить Плеве, что «в моем,—говорит Витте,—положении добиваться поста министра внутренних дел значит быть глупым» (т. I, стр. 197), но едва ли он был в этих объяснениях искренним. Ведь, именно его-то, С. Ю. Витте, положение и должно было наводить его на мысль о преимущественном по тем временам положении министра внутренних дел,—недаром же борьба с Плеве была ему не по силам. Как бы то ни было, кандидатура Витте в министры внутренних дел, по сообщенным мне сведениям, им самим, Мещерским и Зубатовым была намечена. Для проведения этой политической комбинации был избран и начал приводиться в исполнение такой план: Зубатов составил письмо, как бы написанное одним верноподданным к другому и как бы попавшее к Зубатову путем перлюстрации. В нем в горячих выражениях осуждалась политика Плеве, говорилось, что Плеве обманывает царя и подрывает в народе веру в него, говорилось также о том, что только Витте по своему таланту и преданности лично Николаю II способен повести политику, которая оградила бы его от бед и придала бы блеск его царствованию. Это письмо Мещерский должен был передать Николаю II, как голос народа, и убедить его последовать пути, этим голосом указываемому. Но этому плану не было суждено осуществиться. Зубатов допустил крупную оплошность,—он посвятил в него своего друга, а ранее секретного агента, Гуровича, прежнего революционера, известного по кружку «Начала». Гурович же тотчас отправился к Плеве, под предлогом необходимости исключительно важного сообщения добился приема,

разоблачил весь заговор и даже представил копию сфабрикованного Зубатовым письма. Плеве в день следующего же очередного доклада, в Петергофе, где Николай II в то время находился, доложил ему, какими интригами занимается его министр финансов. Это было в четверг, а в пятницу министр финансов покинул свой пост. Зубатов был смещен и выслан из Петербурга. Все это, повторяю, мне лично рассказывал Плеве, объяснив, что во избежание нежелательных для правительства огласки и скандала он вынужден был связать наложенную на Зубатова кару с политикой последнего в рабочем вопросе.

Через три года после оставления С. Ю. Витте поста министра финансов мне пришлось видеть его вновь, Он был в это время на зените своей карьеры, «новоявленным дипломатом», как его в разговоре с министром иностранных дел, графом Ламздорфом, по поводу портсмутского мира назвал Николай II, графом, творцом манифеста 17 октября 1905 г., так много обещавшего России, и премьером в «объединенном» министерстве. На этом нашем свидании С. Ю. Витте останавливается в своих «Воспоминаниях» довольно подробно.

Рассказ свой по этому поводу он начинает с сообщения, что «в январе или феврале 1906 г.» я просил его меня принять, что он меня не уважал, как сослуживца Плеве, что после должности директора департамента полиции я был в Эстляндии губернатором и был с этой должности уволен по требованию Николая II из-за недоразумений между мной и начальником Ревельского гарнизона, между двумя, как он говорит, «начальствующими петухами»,—начальник гарнизона, по

словом Витте, донес, будто я в октябрьские дни 1905 г. «из трусости крайне либеральничал и сдал власть революционерам». Затем Витте говорит, что, несмотря на свое неуважение ко мне, он меня принял. Я, явившись к нему, передал ему, что мне достоверно известно существование при департаменте полиции, учрежденного Рачковским по распоряжению Трепова и находящегося в заведывании жандармского офицера Комиссарова, особого органа, «который фабрикует всякие провокаторские прокламации, особливо же погромного содержания, направленные против евреев». Далее Витте добавляет, что «зная крайне враждебное отношение» мое к Трепову и Рачковскому и не доверяя мне, он потребовал от меня доказательств справедливости моих заявлений и через несколько дней я ему принес образцы отпечатанных в департаменте полиции и распространявшихся им погромных прокламаций, предупредив его, что ему надлежит накрыть этот орган департамента полиции внезапно, дабы все не было скрыто. (т. I, стр. 316, т. II, стр. 72, 73 и 74).

В этом рассказе верно только то, что я указал С. Ю. Витте на появление в департаменте полиции особого органа, созданного для ведения антисемитской, погромной агитации. Все остальное в этом рассказе неточно, и много в нем упущено такого, что имеет большое общественное значение.

В попытке восстановить истину я начну, чтобы скорее с ним покончить, с эпизода в рассказе Витте вводного, с истории моего увольнения от должности эстляндского губернатора. Основания к этому увольнению были гораздо глубже, чем «недоразумения

между двумя начальствующими петухами», как говорит Витте.

15-го октября 1905 г., в Ревеле, где я был тогда губернатором, вспыхнули крупные беспорядки. Они носили далеко не революционный характер,—это просто был погром, произведенный подонками населения, воспользовавшимися темнотой улиц, вследствие остановки газового завода по случаю всеобщей забастовки. Небольшое количество войск, все из старых резервистов, только-что оторванных от сельских работ, первые начали разгром винных лавок. Полиция, в бессилии что-либо сделать, попряталась. Положение создалось очень грозное. Между тем чувствовалось, что по характеру участвовавшей в беспорядках толпы, для прекращения их не было надобности в каких-либо исключительных мерах, достаточно было бы появления какого-либо внешнего фактора, который воздействовал бы не грубой силой, а спокойной уверенностью в своей авторитетности. Я вызвал городского голову Гиацинтова и поручил ему созвать экстренное заседание городской думы и предложить ей от моего имени организовать охрану города милицией из населения с тем, чтобы в нее вошла и городская полиция. Дума поняла серьезность положения и одобрила предложенную мною меру, но совершенно резонно решила, что из общественной организации охраны порядка не может быть исключена какая-либо часть населения. В виду чего дума отправила делегацию на происходивший в это время многолюдный митинг рабочих,—в нем принимало участие чуть ли не все рабочее население Ревеля. Когда делегация городских гласных передала рабочим о моем плане

и просьбу думы принять участие в общем деле охраны населения, рабочие отозвались на это полным сочувствием. При этом они заявили, что, когда около восьми месяцев перед тем, при моем предшественнике, в городе были крупные беспорядки и губернатор охрану порядка передал не всему населению, а одним только фабрично-заводским рабочим и последние охрану эту выполнили добросовестно,—руководители рабочих после того, как порядок был восстановлен, были арестованы и сидят еще в тюрьме. Ввиду этого рабочие без гарантии, что это не повторится, отказывались от участия в осуществлении моего предложения. С этим городская делегация и выборные на митинге представители рабочих пришли ко мне. Выслушав их, я обратился за разъяснениями к начальнику губернского жандармского управления и прокурору окружного суда. Их объяснениями было для меня выяснено, что заявление рабочих вполне справедливо. Кроме того, от этих должностных лиц я узнал, что никаких обвинений арестованным рабочим не предъявлено, а они уже по нескольку месяцев сидели под стражей. Я просил жандармского полковника и прокурора освободить их, указав на важность этим путем дать рабочей массе гарантию в безопасности ее дальнейшего участия в охране порядка. Но оба они отказались просьбу мою исполнить, объясняя отказ тем, что освобождение, хотя бы и мотивированное отсутствием со стороны арестованных какого-либо преступления, будет при данной обстановке носить характер уступки требованиям толпы. Я считал освобождение рабочих актом справедливости, подлежавшим исполнению, в особенности при данной

обстановке, дабы рабочие города отнеслись к этому, как к гарантии их общей безопасности от произвольных арестов. Рабочая делегация, ждавшая моего решения, так к этому и отнеслась. Тогда я, вполне сознавая, что делаю распоряжение, на юридическом языке именуемое превышением власти, дал письменное предложение начальнику тюрьмы освободить всех тех рабочих, список которых, как арестованных при вышеупомянутых условиях, я составил со слов рабочей делегации. Они и были немедленно освобождены. И не прошло после этого и часа, как патрули от населения появились на улицах города. Одного этого появления оказалось достаточно, чтобы порядок водворился полный, при чем не было произведено ни одного выстрела. Порядок продолжался еще два дня, пока в Ревель не приехал начальник гарнизона с присланными из Петербурга войсками. Вести о моих распоряжениях уже дошли до Петербурга по телеграфным донесениям жандармского полковника и прокурора и вызвали ускоренное возвращение начальника гарнизона в Ревель и присылку войск. По приезде начальник гарнизона без моего ведома распорядился выслать на улицы военные патрули. У одного из них произошло столкновение с патрулем из граждан города. В результате чего в рабочем населении пронеслось подозрение в новой измене слову со стороны администрации. Большая толпа рабочих собралась на площади в центре города. Против нее начальником гарнизона была выслана воинская команда, встреча которой с толпой кончилась массой, более ста человек, убитых и раненых.

Я прекрасно сознавал, что и мое обращение к городской думе, и в особенности освобождение мною рабочих мне даром не пройдет. Я не ошибся. Не прошло и недели, как я был вызван в Петербург. Телеграмма о том была подписана Булыгиным, а министром внутренних дел я, приехав в Петербург, застал уже П. Н. Дурново. Дурново мне объявил, что по высочайшему повелению я уволен от должности губернатора и причислен к министерству внутренних дел за то, что «сдал власть революционерам», но, впрочем, кара смягчена тем, что в приказе сказано, что я уволен «по прошению». Вследствие чего Дурново предложил мне подать задним числом соответствующее прошение. Я категорически отказался это предложение исполнить и заявил, что такой шаг знаменовал бы с моей стороны сознание вины, трусость или угодничество. Дурново пытался убедить меня тем, что мой отказ от подачи прошения придает приказу о моем увольнении характер акта подложного. Ему и пришлось таким остаться потому, что прошения я так и не подал. Я не подал тотчас же и прошения об увольнении меня в полную отставку, а оставался некоторое время причисленным к министерству, так как я потребовал расследования моих действий в Ревеле. Но вместо назначения следствия в законном порядке была наряжена смешанная комиссия из двух военных генералов и одного представителя гражданского ведомства, которая пришла к каким-то неблагоприятным для меня выводам, которые, однако, не только никаких неблагоприятных последствий для меня не имели, но даже не были мне объявлены потому, что, как частным обра-

зом объяснил мне Дурново, если бы такое объявление последовало,—я, конечно, представил бы возражения и потребовалось бы возобновление расследования, что нежелательно. В сущности это являлось признанием моей правоты. Я махнул на это дело рукой и вскоре вышел в чистую отставку. После этого я на государственную службу при старом режиме уже не возвращался.

Теперь я могу перейти к рассказу о моем свидании с Витте.

По его версии выходит так, как будто бы я этого свидания добивался и, удостоившись его, ни с того, ни с сего сделал донос на Трепова, Рачковского и Комиссарова. В действительности же был я у Витте по официальному его, как председателя совета министров, приглашению. Было это 22-го января 1906 г. Придя к нему в назначенное время, часа в 2—3 дня, во флигель Зимнего дворца, где он тогда жил, я был принят им весьма любезно; при чем он упомянул о том, как мы давно не видались, о том, что он одно время подозревал меня в содействии Плеве в выслеживании его политических связей, но теперь желал бы забыть это. Я же сказал ему, что подозрения его были несправедливы. Затем он перевел беседу на деловую почву. Он сообщил мне, что обращается ко мне, как к человеку, который, как ему известно, заведывая одно время по департаменту полиции так называемыми еврейскими делами, изучал историю и правовое положение евреев в России, а также, как к лицу, осведомленному по своему прошлому служебному положению о различных национальных еврейских орга-

низациях и их сравнительном политическом значении. Он сообщил мне о необходимости заключения крупного государственного займа за границей и, в связи с этим, а также с общим политическим положением в России, поставил мне следующие два вопроса, прося ответить на них совершенно откровенно: какие облегчения, «льготы» в правовом положении евреев необходимо провести немедленно для того, чтобы, с одной стороны, привлечь к русскому займу еврейские банковские круги за границей, а, с другой,—внести успокоение в революционно настроенные еврейские массы России? С какими центральными еврейскими организациями надлежит войти в сношения, дабы на почве вышеупомянутых «льгот» русскому еврейству добиться от них воздействия на еврейские массы в смысле воздержания последних от участия в революционном движении?

Меня крайне поразило в Витте, с его умом, большим деловым опытом и, казалось бы, опытом политическим, такое, чисто обывательское представление о существовании какого-то еврейского политического центра, центра всемирного кагала, который путем таинственных нитей будто бы управляет еврейством всего мира, может направить его «засилие» на ту или другую страну, может простым приказом бросить его в революцию или воздержать от участия в ней. Я высказал Витте, что такая организация существует только в области антисемитских легенд, в действительности же еврейство, подчиняясь общему закону классового деления, страдает отсутствием единства едва ли не более, чем христианский мир. Те же проявления взаимо-

помощи, которые наблюдаются среди евреев в России, суть результаты правового гнета. Как логическое его последствие, можно даже наблюдать, как широкая еврейская организация по существу исключительно благотворительного характера, так называемое ЕКО, Еврейское колонизационное общество, преследуя в разных странах неуклонно только прямую свою цель,— заведывание колонизационным фондом, пожертвованным бароном Гиршем, в России, кроме того, выступает в лице своих местных представителей в качестве заступника и по общим вопросам правового положения евреев, и по отдельным случаям административных притеснений евреев. Но, однако, нет ни малейших намеков на то, чтобы это общество играло какую-либо руководящую роль в еврейской среде в России. В частности, я доказывал Витте совершенную неосновательность предположения, что какая-либо организация националистическая, благотворительная, религиозная или иная может воздействовать на революционно настроенный еврейский пролетариат. Сговариваться об успокоении взбаламученного революцией еврейского моря не с кем. Но, конечно, можно было достигнуть этого успокоения. Возможность эта крылась в то время, по моему убеждению, в добросовестном исполнении обещаний манифеста 17 октября 1905 года, в частности— в установлении полного национального равноправия. Все это, но, конечно, гораздо подробнее, я изложил С. Ю. Витте. И чем убедительнее я старался быть в этой беседе, тем настойчивее возражал я против его плана частичных «льгот». Они, кроме недоверия, и недоверия не только в революционной еврейской среде,

но и в еврейских буржуазных, в частности, финансовых кругах, ничего поселить не были в состоянии. Я горячо предостерегал его от этого шага, указывая, что он способен разрушить веру в искренность освободительных намерений правительства во всех слоях общества, в России и за границей.

Витте на это довольно туманно стал говорить мне о том, что, хотя, действительно, национальное равноправие манифестом 17 октября и обещано, но осуществление его было бы ошибкою, может быть, даже нежелательно для самих евреев, так как было бы способно усилить в России антисемитское движение. Он говорил о том, что предоставление евреям равных с коренным населением прав есть дело «совести русского народа», что так на это смотрит и государь и что поэтому вопрос о равноправии евреев должен составить предмет суждений народного представительства. «Тогда,—сказал я,—еще менее возможно частичное решение этого вопроса помимо народного представительства».

Затем я обратил внимание С. Ю. Витте, что правительство не имеет права говорить о «льготах» для евреев, не будучи в состоянии оградить их от погромов, а «вы,—сказал я ему,—накануне самых ужасных погромов!» Это весьма его удивило,—по его словам, никаких указаний на возможность еврейских погромов в то время не имелось. Я ему на это заметил, что я уже больше не активный политик, а только наблюдатель, и тем не менее до меня доходят настолько настойчивые сведения о неизбежности погромов евреев, что сомнений для меня в этом быть не может; мне ука-

зывали даже на определенные города, места ближайших по времени погромов, как Киев, Ростов-на-Дону; в Киеве погром, по моим сведениям, был назначен на 3-е февраля, менее, чем через две недели, после нашей с Витте беседы. Моя убежденность в передаваемых ему сведениях, повидимому, убедила и его, он был очень ими взволнован и стал меня расспрашивать, где объяснение этих явлений, откуда они идут. Я объяснил, что, по моему глубокому убеждению, две силы создают погромы: во-первых, черносотенные организации, к тому времени весьма распространенные и окрепшие, и, во-вторых, крайний правительственный антисемитизм. Первый фактор сам по себе мне представлялся нестрашным, значение второго было очень грозно. Правительственный антисемитизм, исходя из центра в виде отдельных проявлений известного настроения, по иерархической лестнице доходил до низов правительственного механизма вылитым в прямой призыв к избиению евреев; оттуда призыв подхватывался и выполнялся черносотенными кружками.

«Кого же,—спросил меня Витте,—можете вы указать в центре, как сеятеля еврейских погромов?» В ответ я рассказал ему следующий, переданный мне одним моим бывшим сослуживцем по департаменту полиции случай, имевший место за несколько дней перед тем, числа около 15-го января: к этому лицу обратился по какому-то делу только-что назначенный градоначальником г. Ростова-на-Дону генерал Драчевский. Мой знакомый говорит ему: «Охота вам, генерал, возиться с такими пустыми делами, вам важно получить

общие руководящие указания по части политики. А это я по моему месту, да и никто вам дать не в состоянии». «Я их получил»,—ответил Драчевский. «От кого же?» «От его величества». «От его величества? Да его величество никогда никому никаких определенных указаний не дает!» «Я,—продолжал Драчевский,—вчера по случаю назначения имел счастье представляться его величеству, и его величество в разговоре о новом месте моей службы изволил сказать мне: «у вас там и в Ростове, и в Нахичевани очень жидов много!» На что я доложил, что я думаю, что их погибло много во время подавления войсками революционного восстания и затем во время погрома. На что его величество ответил: «Нет! Я ожидал, что их погибнет гораздо больше!» Ничего более сказано не было, и это генералом, привыкшим по-военному «есть начальство глазами», было принято, как высочайшее указание к исполнению. Этот рассказ, в свое время мною записанный дословно, я и теперь передаю дословно же. К нему я добавил Витте только мои предположения, как по приезде генерала Драчевского в Ростов «высочайшие указания» будут, конечно, словесно переданы им полицеймейстеру, от него перейдут к участковым приставам и так далее, к околоточным и городовым, которые с уверенностью в своей правоте будут говорить мелким торговцам на базаре, что «жидам надо задать трепку» и что «за это ничего не будет». Я сказал еще Витте, что на такой инспирации местных властей погромным духом дело, повидимому, не останавливается, так как, как я слышал, дошло уже до того, что в департаменте поли-

ции учрежден особый аппарат для погромной агитации, снабженный специальной типографией.

Впечатление мой рассказ произвел на С. Ю. Витте ошеломляющее. Он, повидимому, и не подозревал, с какой простотой, с каким цинизмом, помимо него, через его голову, царь натравливает одних своих подданных на других, как чуть ли не рядом с его кабинетом, где он, глава правительства, ведет беседы о мерах примирения с целым народом, какие-то ничтожнейшие агенты власти истребляют этот народ огнем и мечем в сознании, что исполняют волю главы государства.

Первое, что после этого Витте у меня спросил, это, как предупредить погромы в Ростове и Киеве. Я посоветовал ему поступить так, как в аналогичных случаях поступил граф Толстой, будучи министром внутренних дел, и как мне пришлось поступить в бытность мою эстляндским губернатором. Граф Толстой, чтобы остановить полосу еврейских погромов 1881 г., испросил высочайшее повеление о том, что за возникновение в какой-либо губернии еврейского погрома отвечать будет губернатор. По объявлении этого повеления не возникло во всей России ни одного погрома. Когда же в Ревеле, в тревожные октябрьские дни 1905 года еврейские представители заявили мне о готовящемся погроме и подтвердили это весьма вескими данными,—я на письме и на словах объявил ревельской полиции, что околоточный, помощник пристава и пристав, в участке коих возникнет погром, будут вместе с полицеймейстером немедленно уволены от должностей. Этого было достаточно, чтобы даже слухи

о погроме прекратились. Согласно этому Витте при мне составил телеграммы Драчевскому, который успел уже уехать в Ростов, и киевскому губернатору, в которых в очень энергичных выражениях на них возлагалась ответственность, в случае возникновения в их районах погромов. Я ему при этом посоветовал не посылать этих телеграмм от себя, а дать подписать их министру внутренних дел Дурново, так как это произвело бы бо́льший эффект. Так он и поступил, и телеграммы Дурново были, как я впоследствии удостоверился, действительно посланы без изменения составленного С. Ю. Витте текста.

Затем Витте просил меня собрать ему материал по поводу погромного органа департамента полиции. Его руководители были столь уверены в легальности его существования и потому так мало соблюдали конспирацию, что для меня не составило никакого труда получить необходимые сведения. Мне удалось установить, что после издания манифеста 17-го октября 1905 года в помещении департамента полиции была поставлена ручная ротационная типографская машина, на которой и печатались погромные воззвания. Учреждена эта типография была по распоряжению в то время вице-директора департамента Рачковского и находилась в заведывании жандармского ротмистра Комиссарова, при котором состояло 2 печатника.

Через день после первого свидания с Витте я уже имел возможность передать ему как эти сведения, так и целую пачку воззваний, уже отпечатанных и даже получивших распространение, других, к распространению заготовленных, и, наконец, проекты новых

воззваний. Во всех них содержались разные уродливые обвинения, направленные против евреев, и призывы к их избиению. Ознакомившись со всем этим, Витте спросил: «Что делать?» Я ему советовал прибегнуть к самым решительным мерам и ими устранить возможность того, чтобы вся грязь погромной деятельности департамента полиции прилипла к нему самому. Для этого, по моему мнению, надо было, чтобы Витте сам в сопровождении одного-двух состоявших при нем чиновников отправился вечером того же дня в департамент полиции, где в это время должно было печататься одно из принесенных ему мною воззваний, накрыл бы типографию за работой, созвал бы экстренное заседание Совета министров для выслушивания его сообщения об этом и для распоряжений о передаче виновных в руки судебной власти и распорядился бы их немедленным арестом. Также немедленно все надлежало бы сообщить прессе. Я высказал Витте мою уверенность, что этими мерами можно не только надолго покончить с погромами и с убеждением местных властей в сочувствии им правительственного центра, но и создать правительству такое доверие, при котором безо всяких частичных «льгот» еврейству успех русского займа за границей был бы обеспечен.

Я оставил Витте в крайнем волнении вследствие нашей беседы. Он пишет в своих мемуарах: «Я ко всем этим указаниям отнесся совершенно равнодушно» (т. II, стр. 73), и непонятно, зачем он на себя клевещет. С его умом и страстной натурой волнение, говорят, довело его до сильного припадка астмы. Припадок ли этот ослабил его волю, или отсутствие граждан-

ского мужества толкнуло его на путь полумер, но он ограничился только тем, что вызвал к себе Комиссарова и «запретил» ему заниматься печатанием погромной литературы. Такой малодушной мерой разрешилось дело, которым Витте мог бы воспользоваться, чтобы получить оружие, достаточно сильное для успешной борьбы с одним из самых тяжких грехов русской государственной власти. Но когда читаешь, как Витте рассказывает про свои объяснения с Комиссаровым, невольно появляются сомнения в том, чтобы он был вообще способен на прямой и смелый шаг. Вызвав к себе Комиссарова, «я,—говорит Витте,—его усадил и прямо начал разговор о том, как идет то важное дело, которое ему поручено, которым я очень интересуюсь, и передал ему такие детали, что он сразу немного растерялся. Я ему сказал, что посвящен во все, тогда он начал мне докладывать различные подробности» (т. II, стр. 74). Чем, если не малодушием, можно объяснить то унизительное положение, в которое наделенный наибольшей в государстве властью человек поставил себя, прибегая в объяснениях с провинившимся подчиненным, к сыщицким приемам? А в результате такого «подхода» председателя Совета министров к делу, Комиссаров вышел из его кабинета в полном убеждении, что выслушанный им запрет никакого внимания не заслуживает. Предугадывая это, я вызвал Комиссарова и спросил: как поступит он, если после запрета Витте Рачковский прикажет ему продолжать его погромную работу? Комиссаров без запинки, как на вопрос вполне естественный, ответил,

что, дабы избежать исполнения приказания Рачковского, он свой типографский станок сломал.

Когда после свидания моего с Витте, о котором я только что рассказал, я уходил от него,—он пригласил меня зайти к нему еще. Я объяснил себе это приглашение желанием закончить нашу беседу на общую тему по еврейскому вопросу. Однако, когда дня через 2 или 3 я пришел к Витте,—он этого вопроса не коснулся, как будто бы он и ранее в разговорах со мной его не затрогивал, а сразу заговорил об общем политическом положении и о способах борьбы с революционным движением. Его слова были полны растерянного недоумения перед тем, что революция, несмотря на все хорошие слова, произнесенные 17 октября 1905 г., все еще длится. Эта непонятная ему длительность революционного процесса заглушала в нем веру в спасительность хороших слов; дела же, пригодные для спасения, требовали большей, чем у него, государственности, духовных сил, и потому для него не оставалось иного выхода, как репрессивные меры, старые приемы полицейского воздействия. Он об них со мной и заговорил; но в отношении и их спасительности в речи его слышались ноты сомнения. Я указал ему как на величайшую, по моему мнению, ошибку, именно на применение полицейских приемов. Правительству Витте, в зависимости от обстановки, в которой оно действовало, менее, чем какому-либо иному, подобало к ним прибегать, ибо смешно, находясь в разгаре революции, заниматься тем, чтобы пересылать людей из одного места в другое. Я помню, я получил однажды от Победоносцева письмо, в котором он,

прося моего заступничества перед Плеве за какого-то покровительствуемого им молодого человека, подвергнутого административной ссылке, писал мне: «какая от того государственная польза будет, что человека пошлют из Благовещенска жить в Архангельске?» Действительно, почему государство может от того выиграть? И если эта мера не имеет смысла накануне революции,—она еще бессмысленнее во время ее подъема. А правительство Витте к этому времени, на эту меру перенесло все свои усилия и надежды. Это мое замечание Витте принял чуть ли не за личную ему обиду и даже воскликнул: «Я, ведь, не Плеве!» Мне пришлось ему ответить, что различие между ними в этом отношении только количественное и притом не в пользу его, Сергея Юльевича, ибо, как бы ни была сурова политика Плеве, за 2 года и 3 месяца его министерства цифра административно высланных много ниже числа лиц, подвергнутых административной ссылке за 3 месяца премьерства Витте. Эта последняя цифра, по дошедшим до меня сведениям, ко времени моей беседы с Витте уже перевалила за 16.000 человек. Огромность ее для возвещенного лишь за три месяца перед тем обновления государственного строя на основах «правопорядка» до того поразила Витте, что он ей не поверил. Я ж вынес впечатление, что он так далек от практической политики административных властей, что не имеет представления ни о ней, ни о значении ее в повседневной жизни населения. Я должен при этом сказать, что, относясь с недоверием к сообщенным ему мною сведениям, преимущественно цифрам, он внимательно отнесся к высказанным ему

мною мнениям. Через несколько дней я узнал, что Витте потребовал из министерства внутренних дел справку о числе подвергнутых после 17 октября 1905 г. ссылке в административном порядке; оказалось, что я ошибся почти втрое: цифра сосланных с 17 октября по 15 января дошла до 45.000 человек. При этом обнаружилось, что даже Дурново, министр внутренних дел, был поражен ею,—тем, как, высылая людей, так сказать, пачками, он не заметил их накопления до такого огромного числа. А я помню, как тот же Дурново прежде говорил мне, что, когда при его управлении департаментом полиции число административно-ссыльных дошло до 750-ти,—он докладывал тогдашнему министру внутренних дел, гр. Толстому, что административная ссылка, а с нею и положение об охране должны быть отброшены, как приемы управления, очевидно, практически негодные.

Мои беседы с Витте привели к тому, что он повез к Николаю II для доклада проект указа о назначении меня товарищем министра внутренних дел с особыми самостоятельными полномочиями по управлению полицией. Замечательно, что он не счел нужным не только спросить моего согласия, но даже предупредить меня о своем решении, как будто бы предполагая почему-то, что в согласии моем сомнений быть не может. Об этом решении Витте я узнал от одного чиновника министерства внутренних дел, видевшего проект указа о моем назначении. О том же затем говорили кн. Урусову, брату моей жены, тогда товарищу министра внутренних дел, сам Витте и его жена, по словам которых, Витте по поводу проекта моего назначения встретил столь

решительно враждебный отпор со стороны Николая II, что даже был им озадачен.

Как этот проект Витте о поручении мне одного из самых ответственных по тому времени постов в государстве примирить с заявлением его в мемуарах о том, что он меня не уважал? Мотивом этого своего отношения ко мне он указывает мою службу в министерстве внутренних дел во времена Плеве. Мотив этот он приводит дважды, в рассказе о своем последнем со мной свидании (т. II, стр. 72) и при упоминании о том, что в октябре 1905 г. при обсуждении им с общественными деятелями плана составления первого объединенного кабинета министров я был указан как кандидат в министры внутренних дел (т. II, стр. 536). Но ссылка его на этот мотив в последнем случае опровергается фактом признаваемого самим Витте настойчивого проведения им кандидатуры на этот пост Дурново, который служил с Плеве и в качестве товарища министра, и ранее в качестве его вице-директора в бытность Плеве директором департамента полиции, а главное, ссылка эта опровергается свидетельством такого добросовестного человека как Д. Н. Шипов, который в своих мемуарах сообщает, что на вышеупомянутом совещании моя кандидатура на должность министра внутренних дел была отвергнута Витте «вследствие недовольства деятельностью А. А. Лопухина как эстляндского губернатора» (Д. Н. Шипов, «Воспоминания и думы о пережитом», стр. 343), т.-е. тем, что я будтобы «сдал власть».

В своих «Воспоминаниях» С. Ю. Витте, сообщая о том, что Комиссаровская погромная типография по-

служила темой для речи моего зятя, Урусова, произнесенной в первой Государственной Думе, высказывает упрек ему и мне за разглашение таких сведений, которые нам сделались известны только вследствие служебного положения (т. II, стр. 74). Довольно трудно говорить о том, что мое служебное положение причисленного к министерству сыграло какую-либо роль в получении того разоблачавшего погромную типографию материала, который я сообщил Витте. А в отношении С. Д. Урусова упрек Витте не имеет даже намека на справедливость потому, что все разоблаченные им в Думе сведения он получил исключительно от меня, а не по службе. Кроме того, более чем странным представляется мнение Витте, будто на устах всякого уходящего в отставку чиновника лежит печать молчания в отношении всех уродливых явлений, которые он на службе наблюдал, да еще таких, которые уголовными кодексами всех стран караются как тяжкие преступления.

Совершенно не разделяя это мнение, я дважды счел себя обязанным предать гласности историю обнаружения мною погромного органа департамента полиции.

Когда, находясь летом 1906 г. за границей, я прочел в русских газетах отчет о заседании Государственной Думы, в котором Столыпин давал свои объяснения по запросу о Комиссарове и его типографии, я, видя существеннейшее искажение Столыпиным истины, написал ему официальное письмо, в котором изложил все те данные, которые в свое время были переданы мною Витте. Имея уже тогда основания не доверять Столы-

нину, я, дабы устранить возможность уклонения с его стороны от правды, копию моего письма послал в редакцию газеты «Речь», но она поместить его на страницах своих не решилась. По возвращении же моем из-за границы время для напечатания письма было уже упущено. Вскоре, однако, при слушании Петербургской судебной палатой дела о первом составе Совета Рабочих Депутатов письмо мое к Столыпину было оглашено на суде и таким путем попало в печать. По этому делу защите важно было доказать, что оружие, отобранное у обвиняемых или раздававшееся ими, было заготовлено не для вооруженного восстания, что вменялось им в вину, а для самообороны населения при готовившемся еврейском погроме. Защите надо было доказать действительность возможности погрома. Последствия для обвиняемых могли быть весьма существенны: при оправдании в подготовлении вооруженного восстания высшей мерой наказания могла быть ссылка на поселение вместо каторжных работ. Защитники, зная по слухам, что какой-то материал о погромной деятельности властей у меня имеется, обратились ко мне с просьбой сообщить его им. Подлинные документы остались у Витте; у меня же описание их и все относящиеся к ним сведения имелись в виде письма к Столыпину. Я копию этого письма и передал защитникам. Будучи представлено ими суду и оглашено им, письмо это таким путем и проникло в печать.

Впоследствии мне стало известно, что за оглашение этого письма Столыпин поднимал вопрос о предании меня суду, но даже щегловитовская юстиция не смогла найти в данном случае состава преступления.

Мне остается только остановиться на одном относящемся ко мне лично и упоминаемом в мемуарах Витте эпизоде. Сам по себе значения особого он не имеет, но красноречиво свидетельствует о том легкомыслии, с которым Витте удостоверяет факты, никогда не существовавшие, очевидно, созданные его воображением.

В мае 1907 г. А. И. Браудо, сотрудник «Речи», мой знакомый, пришел ко мне с рассказом о принесенной рабочим Федоровым в редакцию «Речи» повинной в убийстве им члена Государственной Думы Иоллоса. Федоров, кроме того, сообщил, что черносотенный кружок, толкнувший его на это убийство, готовит убийство Витте, долженствующее совершиться во время одной из ближайших поездок Витте в заседание Государственного Совета. Об этом Браудо, зная о моем знакомстве с Витте, просил меня его предупредить, я и предупредил Витте, но не непосредственно, а через И. И. Шипова, бывшего его сослуживца, человека ему близкого. Рассказывая об этом в своих «Воспоминаниях Витте мою осведомленность в данном случае приписывает тому, что я, оставив службу, будто бы «вошел совсем в кадетскую партию» и «занимался в этой партии специально вопросами сыска, т.-е. контролем над тем, что делает секретная полиция» (т. II, стр. 375). На чем основано это столь категорическое утверждение, Витте умалчивает. Весьма сомнительно, чтобы кадетская партия обладала органом надзора за государственной полицией. Могу сказать только, что я в этом органе участия не принимал по той причине, что никогда и членом кадетской партии не состоял, не при-

надлежал вообще никогда ни к какой политической партии.

На этом я заканчиваю ту часть моих записок, которую я восстановил в связи с чтением «Воспоминаний» С. Ю. Витте, в качестве необходимых, по моему убеждению, дополнения и корректива к ним.

26 июля 1922 года.
Москва.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловие III

I. Личность С. Ю. Витте 4

II. Ходынская катастрофа 20

III. Конституционные попытки начала 1904—конца 1905 г. 42

IV. Мое знакомство с С. Ю. Витте 60

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

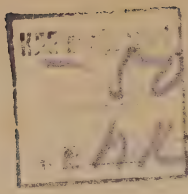
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МОСКВА.

Ленин, Н. (Ульянов, В.) Т. XIX. Национальный вопрос. (Статьи 1910—21 г. г.) Изд. 1921 г. Стр. 300.
Маркс, К. и Энгельс, Ф. Полное собрание сочинений. Т. III. Исторические работы. Изд. 1922 г. Стр. 519.
Его же. Т. IV. Процесс производства капитала. Изд. 1920 г. Стр. 799.
Его же. Т. V. Процесс обращения капитала. Изд. 2-е. 1919 г. Стр. 515.
Его же. Т. VI. Капитал. Критика политической экономии. Изд. 2-е. 1922 г. Стр. 447.
Его же. Нищета философии. Ответ на „Философию нищеты" Г. Прудона. С предисл и примеч. Ф. Энгельса. Изд. 1922 г. Стр. 165.
Мальков, А. В. Социальные проблемы питания. Пособие к лекциям. Изд. 1923 г. Стр. 87.
Маслов, П. Общедоступный курс истории народного хозяйства. Изд. 4-е 1922 г. Стр. 212.
Основные проблемы полит. экономии. Сборник статей. Под ред. и с предисл. Т. Двольпкого и И. Рубина. Изд. 1922 г. Стр. 440.
Полонский, В. Бакунин. Т. I. Бакунин-романтик. Жизнь, деятельность, мышление. С портрет. автора. Изд. 1922 г. Стр. 418.
Плеханов, Г. В. (Бельтов, Н.) К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. С 2-мя прилож. Изд. 6-е. 1922 г. Стр. 304.
Его же. Русский рабочий в революционном движении. (По личным воспоминаниям.) Изд. 1922 г. Стр. 88.
Радек, К. Внешняя политика Советской России. Изд. 1923 г. Стр. 111.
Стучка, П. Революционная роль права и государства. I. Общее учение о праве. Изд. 1922 г. Стр. 125.
Сергеев, В. С. Всемирно-исторические кризисы. Ч. 5. Европейский кризис на заре XIX столетия. Изд. 1922 г. Стр. 46.
Сеньобос, Ш. Политическая история современной Европы. Т. I. Эволюция партий и политических форм. С прилож. и под ред. В. А. Поссе. Изд 5-е. 1922 г. Стр. 280.
Сандомирский, Г. Б. Фашизм. С 23 рис. и документ. Изд. 1922 г. Стр. 156.
Троцкий, Л. Д. 1905 г. Изд. 2-е. Стр. 413.
Его же. Между империализмом и революцией. Изд. 1922 г. Стр. 151.
Троцкий, Л. и Раковский, Х. Очерки политической Румынии. С рисунк. Изд. 1922 г. Стр. 151.
Энгельс, Ф. Крестьянский вопрос во Франции и Германии, с предисл. Плеханова. Изд. 1922 г. Стр. 70.
Его же. Людвиг Фейербах. С приложением I. Карл Маркс о французск. материализме. II. Карл Маркс о Фейербахе. Перев. предисл. и примеч. Г. В. Плеханова. Изд. 1922 г. Стр. 107.

Торговый сектор Государственного Издательства:
Москва, Ильинка, Биржевая площ., уг. Богоявленского пер., № 4.
Телефоны: 1-57-57, 47-35.

Розничная продажа:

1) Советская пл., под гостиницей „Дрезден"; 2) Моховая, 17; 3) Б. Никитская, 13 (здание консерватории); 4) Никольская, 3.



П 927(2)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ □ МОСКВА □ 1923

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
10001854717